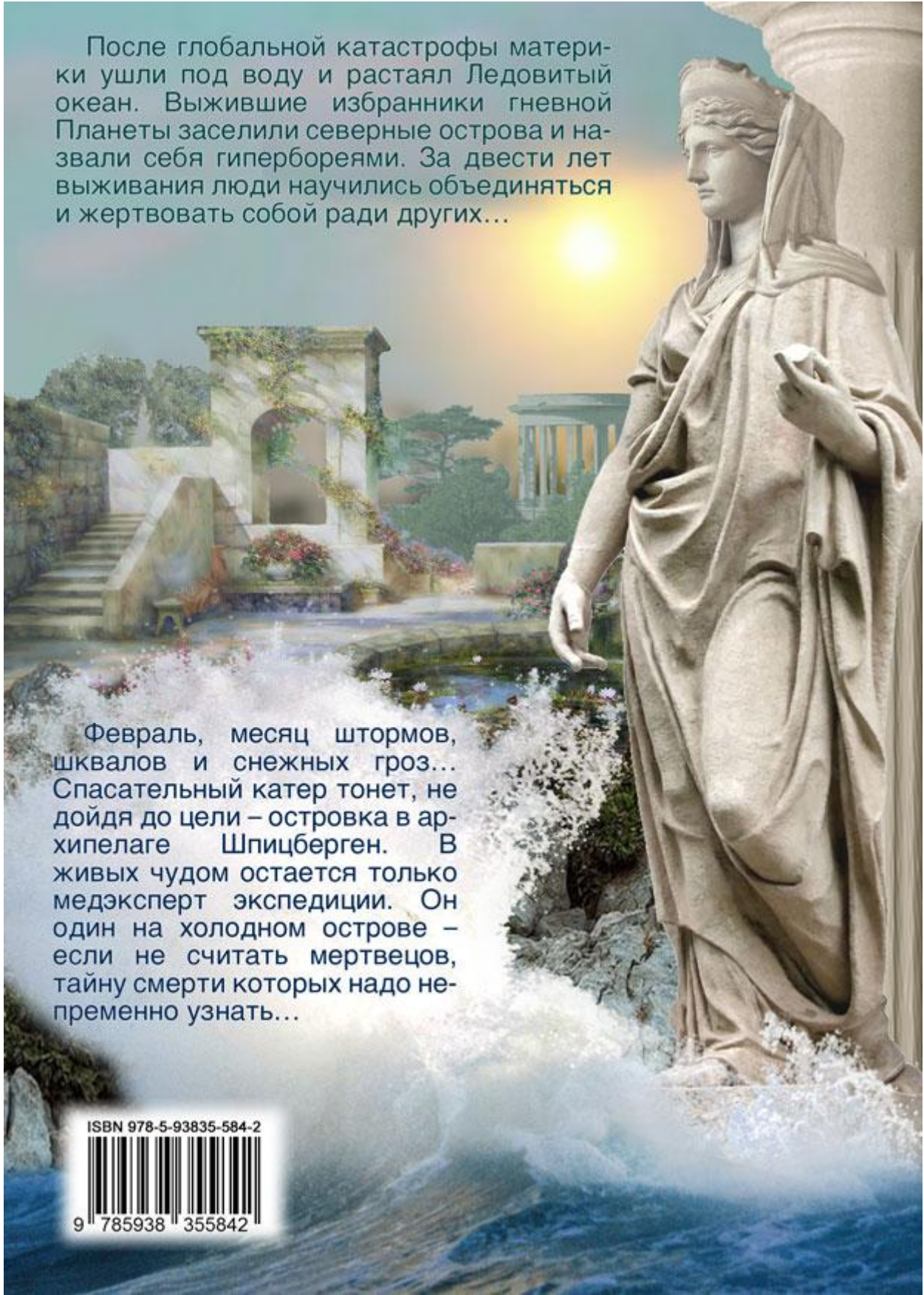


ОЛЬГА ДЕНИСОВА

Мертвая
звезда

ИЗБРАННИКИ ГНЕВНОЙ ПЛАНЕТЫ



После глобальной катастрофы материки ушли под воду и растаял Ледовитый океан. Выжившие избранники гневной Планеты заселили северные острова и называли себя гиперборейцами. За двести лет выживания люди научились объединяться и жертвовать собой ради других...

Февраль, месяц штормов, шквалов и снежных гроз... Спасательный катер тонет, не дойдя до цели – островка в архипелаге Шпицберген. В живых чудом остается только медэксперт экспедиции. Он один на холодном острове – если не считать мертвецов, тайну смерти которых надо непременно узнать...

ISBN 978-5-93835-584-2



9 785938 355842

Ольга Денисова

МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

Повесть из цикла «Избранники гневной планеты»

Мы забыли, бранясь и пируя,
Для чего мы на землю попали...

Ауне проснулась от поцелуя Олафа — и испугалась. Испугалась повторения того, что было ночью. Олаф прильнул к ее спине, провел губами по волосам, шершавыми пальцами сжал измученную, ноющую грудь. Нет, не сильно — нежно, хорошо. Дохнул в ухо неуверенным, дрогнувшим выдохом...

Оранжевое солнце, будто раздвинув мягкие губы полосатых туч на горизонте, пронзило пространство плотным пучком лучей, осветило замершую над брачным ложем статую Планеты. Долгий полярный день шел к концу, Ледовитый океан тяжело бил волнами в высокий берег, бирюзовое небо раскинулось над головой.

Тело замирало от страха перед новой болью, но Ауне повернула лицо к Олафу, приподнявшемуся на локте, и улыбнулась — наверное, получилось жалко, вымученно. Милый Олаф... Его взгляд, полный вожделения, был и умоляющим, и испуганным, и решительным — он не смел требовать, и не умел вызвать ответное желание, и сдержать своего не хотел. Он так долго ждал этого дня...

Ауне еле заметно кивнула, и счастье вытеснило страх перед болью.

— Оле, а если он умрет?

— Кто? — сонно спросил он.

— Наш малыш.

— Вероятность шестьдесят три с половиной процента, — пробормотал Олаф. — В нашем поколении.

Он учился на врача и был очень умным, не только отчаянным и сильным. Во всяком случае, Ауне так считала.

— Тебе его не жалко?

Олаф не ответил — вздохнул снисходительно.

Она еще не знала, смогла ли зачать, но мысль о смерти ребенка кольнула остро, до слез. Раньше это ее не трогало, она знала, что большинство ее детей умрет сразу после рождения, останутся те, кого выберет Планета, кто будет дышать воздухом сам. У ее

матери в живых осталось трое детей из одиннадцати рожденных, у матери Олафа — двое из восьми.

В допотопные времена вулканы не выбрасывали в небо столько пепла и углекислоты и все дети рождались способными дышать — Ауне с тоской подумала о том, что до потопа ее нерожденный малыш выжил бы непременно. И устыдилась своих мыслей. Они гипербореи, потомки тех, кого выбрала сама Планета — гневная Планета, — кого она оставила в живых, когда суша опрокинулась в океаны: не сожгла лавой, не разбила чудовищными волнами, не отравила углекислотой, не засыпала пеплом...

Ауне посмотрела в лицо статуе: не только гневная и немилосердная, но и дающая, родящая...

— Пожалуйста, выбери нашего малыша, — шепнула Ауне одними губами. — Пожалуйста!

Задремавший было Олаф прыснул:

— Молишься Планете?

Ауне смутилась, а он высвободил руку из-под ее плеча, легко поднялся на ноги и развернул широкие плечи — должно быть, ему надоело валяться.

— Мы — гипербореи. Мы не должны просить.

— Почему? — спросила Ауне, испугавшись вдруг за него, за его дерзость и самоуверенность.

— Потому что Планета помогает сильным.

— Но ведь это от нас не зависит...

— Это не зависит от нас сегодня, сию минуту. А через триста лет дети не будут умирать. А может, даже раньше.

Благословенна теплая и солнечная гиперборейская весна, и благословенна Восточная Гиперборея, страна счастливых и сильных людей, что, подобно своим легендарным предшественникам, живут в труде и веселье, не зная раздоров и смуты.

Ауне казалось, что родила она легко, хотя солнце обошло по небу целый круг с той минуты, как она ощутила первую схватку.

Ребенка сразу унесли, не позволив ей и взглянуть на него, — она слышала только, что родился мальчик. И Ауне хотела бежать на берег океана, туда, где Планета сейчас решит, останется ли ее сын в живых. Пусть, пусть это обязанность отца. Она должна быть

рядом с младенцем, помочь ему — хотя бы своим присутствием... Но врач долго накладывал швы, слишком долго... Наверное, нарочно.

Красное полуночное солнце замерло над океаном, у самой его кромки, разрисовало небо в сумасшедшие цвета, от ясной зелени до зловещего густого багрянца. Ауне нетвердо поднялась на ноги и, ступая узко и осторожно, направилась к берегу.

Она никого не встретила. И теперь все стало ясно, хотя бы потому, что не слышно было ни приветственных радостных криков, ни детского плача. Хотя бы потому, что ей не принесли младенца. Все было ясно, и тешиться надеждой Ауне не стала. Она всю зиму представляла себе этот страшный миг, просыпалась в холодном поту, прижимала к животу руки, гладила и ласкала неродившееся дитя, ужасаясь тому, что может его потерять. И теперь, когда это произошло, ощутила не острую боль, а тяжесть, придавившую ее к земле. Наверное, виной тому усталость?

Тишина и безветрие, полночное солнце и неподвижная Планета с гордо поднятой головой. Ауне посмотрела ей в лицо без осуждения и не сразу заметила сжавшегося, скорчившегося у ног статуи Олафа — маленького, уязвимого рядом с ее могуществом.

У него тряслись плечи. Ауне никогда не думала, что Олаф может плакать. Она опустилась возле него на колени и провела рукой по его спине — он всхлипнул и вскинул мокрое от слез лицо с опухшими губами.

— Это был мой сын... — выговорил он полупшепотом.

Ауне не смогла улыбнуться, только погладила его снова — рука была деревянной, негнушейся, дрожащей — и сказала ломким, как сухая трава, голосом:

— У нас будут еще дети. Еще много детей.

В море соли и так до черта,
Морю не надо слез.

Ледяная вода оглушила, выбила из груди воздух, сжала горло спазмом — и крошечной тьмой сомкнулась над теменем. Мелькнула в голове трезвая, спокойная мысль: это смерть, довольно быстрая и не такая мучительная, какой стала бы со спасательным жилетом. Но Олаф не был бы гипербореем, если бы сдался сразу: рванул вверх, поборол спазм, вдохнул судорожно мокрого соленого ветра — ледяного шквального ветра. Волна тяжело ударила в лицо на следующем вдохе — Олаф хлебнул,

закашлялся, вдохнул снова. Молния осветила уходивший под воду нос катера в центре воронки...

Холод еще не стал болью, но жег пронзительно, и паника билась в голове так же, как со всех сторон беспорядочно бились волны шквала. Ветер рвал пену с воды и обдирал лицо, не давал дышать, к босым ногам подбиралась судорога, холодом сдавливало грудь. Олаф кашлял, отплевывался, фыркал и задирает голову, проваливался между волн, поплавок взлетал над океаном и снова оказывался с головой накрытым ледяной волной.

Молния ударила в воду почти одновременно с оглушительным треском грома, высветила в пелене тумана черные скалы Гагачьего острова по правую руку. Метров триста. Сколько у него времени? Минут пятнадцать. Может быть, двадцать, но не больше. Скалы. Даже если доплыть до берега, на него все равно не выбраться — разобьет. С северной стороны берег пологий — вытертый тяжелыми животами *Больших волн* Ледовитого океана. А может, и нет... Не успеть. Обогнуть остров — это километры.

Олаф поплыл к острову, осознавая бесполезность попыток спастись. Он не был бы гипербореем, если бы перестал бороться за жизнь, — оставить надежду вовсе не означает сдаться. Планета помогает сильным, тем, кто не рассчитывает на ее помощь.

Правую ступню вывернуло судорогой, но судорога пугает только тех, кто плохо плавает. Боль выламывала пальцы на руках, лицо тянуло едкой, соленой коркой, но самое страшное, с чем невозможно было бороться, — Олаф задыхался. Дело не в ветре, забивавшем глотку соленой пеной, не в волнах, — это холод. Он ощущал, с каждой секундой все отчетливей, что слабеет. Тело не слушается его, движения даются с трудом.

Молнии били и били по воде, ветер превращал мокрый грозовой снег в пыль, в мутную пелену со всех сторон, и вдруг в этой мутной пелене на гребне волны блеснул серп огромного черного плавника. Орка... С раннего детства Олаф знал — да, это прирученные киты. Да, они умны и послушны. Но нет ничего опасней, чем оказаться в воде рядом с косаткой — утопит не со зла, а только от неуклюжести и невероятной своей силы. А если это дикая орка? Нет, они не едят людей, это всем известно, но...

Дыхало выбросило воздух совсем близко, а потом огромное и теплое — чуть теплее воды — тело оказалось прямо под Олафом, скользнуло боком, коснулось живота и груди, и Олаф инстинктивно схватился рукой за толстый плавник. В темноте он не разглядел пятна под плавником, но почти не сомневался — это одна из трех косаток, которые шли с катером.

Шквал налетел неожиданно, у самой цели пути, — пришлось поменять курс, не подходить близко к скалам. Олаф не подумал тепло одеться, когда капитан отдал команду

задраиваться, — на пути к Гагачьему острову это был второй по счету шквал, первый застал их в открытом море. Снежные грозы в феврале — явление нередкое. Олаф не боялся морской болезни, смущал его только погашенный свет и невозможность спать при такой качке. Остальные, чтобы не скучать, собрались в кают-компани, Олаф же не любил шумных посиделок с бессмысленными разговорами. А потом с треском и грохотом лопнуло днище катера, брошенного волной на риф. Это было похоже на взрыв.

Катер затонул через минуту, и за эту минуту Олаф успел открыть задранный люк и подняться на палубу. Он один успел подняться на палубу. Возможно, капитан и рулевой сумели выбраться из рубки под водой, возможно, кто-то из команды тоже безнадежно боролся теперь с волнами. Но те, кто был в кают-компани...

Таллофитовая рубаха с рукавами, вязаный свитер, кальсоны и трикотажные с начесом штаны, пара тонких носков — этого мало даже на суше... Рука не слушалась, соскальзывала с гладкого плавника, Олаф ухватился за него и другой рукой — не думая о том, что же нужно косатке и насколько она опасна. И тогда огромное тело под ним колыхнулось: фантастическая силища перекадилась под толстой кожей от головы до хвоста, в лицо ударила распоротая плавником волна — орка двинулась к острову. Приученная к ярму, она старалась идти по поверхности воды, но ей мешали беспорядочные волны, бьющие то с одной, то с другой стороны. Шквал тем и опасней шторма.

Олаф всеми силами держался за плавник, сцепив пальцы замком, вдыхал — иногда удачно, иногда не очень — и даже пробовал что-то сказать по привычке. Глупые слова, которые говорят тягловым косаткам: молодец, девочка, хорошая девочка... Он подозревал, что она «высадит» его перед скалами, но орка была умней, чем ему представлялось, и пошла в обход острова, к пологому северному берегу. Что для кита три-четыре километра? Наверное, она могла плыть быстрее, но старалась быть осторожной. Встречные волны хлестали по лицу тяжелыми оплеухами, Олаф перестал ощущать холод так остро — то ли привык, то ли помогло тепло китового тела. Даже дышать стало немного легче. Нет, он не верил, что выживет, напротив — думал, что скорей всего умрет. Эта мысль, если принять ее всерьез, вбрасывала в кровь больше адреналина, чем глупая надежда на спасение.

Если орку выбросит волной на берег, она погибнет. Потому что Олафу не хватит сил столкнуть ее в океан. Он сам выпустил плавник из рук, когда они подошли к полосе прибоя, хлопнул ее по спине, крикнул сквозь грохот волн: «Гуляй, девочка, гуляй». И она

прочиркала в ответ что-то оптимистичное, радостное — они всегда радовались, если их хвалили. Нет, не за рыбу косатки служили людям... Им нравилось быть с людьми.

Планета помогает сильным, тем, кто борется до конца, тем, кто не просит помощи.

Прибой, ворочавший береговые камни, вышвырнул Олафа на сушу пинком: поколотил, протащил по наждаку гальки и оставил лежать ничком, цепляясь онемевшими пальцами за вожделенный берег.

Ветер звенел на одной ноте, мокрый, соленый ветер... Он обжигал сильней ледяной воды и был холоднее. Олаф знал, что вода страшней и убивает быстрее, отполз с кромки прибоя; но и ветер убьет его за час-другой, а если он будет валяться на камнях — то гораздо раньше. Снять и отжать одежду? Даже в ледяной воде тело немного ее согревает. Раздеться — потерять драгоценные крупницы тепла. Нет, лучше отжать, как бы ни было страшно оказаться голым на ветру.

Где-то там, на островке, брезжило спасение — сборщики штормовых выбросов, семеро студентов и инструктор: времянка, ветряк, и огонь, и спирт, и горячий чай, и теплая одежда. Но главное — люди. Катер шел к ним.

Лучше всего замерзших отогревают человеческие тела.

Не хотелось думать о катере, о сидевших в кают-компании, о капитане и рулевом в рубке... С ними шли три орки, и оставалась надежда, что спасся кто-то еще, но это была призрачная надежда. Олаф считал себя скептиком, многие называли его пессимистом, на самом же деле с некоторых пор он предпочитал не питать напрасных надежд.

Ноги не держали, были словно ватные. От холода кровь приливает к внутренним органам... Знание механизма умирания от гипотермии нисколько от гипотермии не помогало. Правую ступню то скручивало судорогой, то отпускало, чтобы снова скрутить от неосторожного движения. Олаф плохо ходил по гальке — давно жил на Большом Рассветном, где берег был песчаным, отвык. А ведь в детстве бегал по камушкам и не замечал... Скалы приближались слишком медленно, но надежда на них могла и не оправдаться — ну как они неприступны? В одних носках вскарабкаться на вертикальную стенку трудновато...

Планета помогает сильным. Олафа бил озноб (температура тела выше тридцати двух градусов, но ниже тридцати пяти), когда он добрался до подножья скал. Нет, они не были отвесными: цунами, бьющие в берег, рушили их постепенно, стирали шершавыми языками, крошили животами — и навстречу вел довольно пологий склон. Планета помогает сильным. Первое, что нужно сделать, оказавшись на острове, — подняться повыше.

Потому что *Большая волна* появляется тогда, когда ее не ждут. Но Олаф не долго думал о цунами...

Он вырос в маленькой общине Сампа, одной из четырех на острове Озерном, которую сорок лет железной рукой вел за собой старый едкий Матти. Отец Олафа был человеком мягким, что бывает свойственно людям большой силы и роста, нетребовательным и снисходительным к обоим сыновьям, и если бы не жесткие уроки Матти, Олаф, пожалуй, вырос бы совсем другим. Матти любил повторять, что мягкой как воск должна быть женщина, а в мужчине главное стержень, на который она сможет опереться. Он смеялся над болью, слабостью и трусостью, научил не жаловаться и преодолевать страх. Это он твердил, что Планета помогает только сильным.

Воистину, Озерный был одним из самых удивительных уголков Восточной Гипербореи, которые Планета подарила своим избранныкам! Должно быть, в столь высоких широтах не нашлось бы более теплого и уютного местечка. Цунами разбивались еще о землю Франца Иосифа, добежали до Ледниковых гор, но на берега Озерного приходили слабыми и невысокими, иногда ниже ветровых волн. Просто выливались на берег дальше кромки прибоя, и только-то. Первую в своей жизни настоящую *Большую волну* Олаф увидел в десять лет, когда поехал с отцом в Сухой Нос.

Чем выше Олаф поднимался, тем сильнее и пронзительнее становился ветер. Если за час не найти лагерь — это смерть. Даже укрывшись в скалах, он все равно замерзнет. Он уже почти замерз, он чувствует судороги диафрагмы, провалы в сердечном ритме, он слабеет и скоро не сможет идти. Пропал озноб (температура тела ниже тридцати двух градусов?), мысли путались, в голове появлялись странно оптимистичные идеи — отдохнуть немного, подремать, свернувшись клубком. Олаф едва не забыл, зачем поднимается на остров. По белой лестнице с широкими площадками и лавочками, под разросшимися вдоль нее кустами можжевельника — к институту океанографии. Большой Рассветный, так похожий на древнюю Элладу, особенно солнечным летним днем...

Олафа качнуло, высокая скала по правую руку задела плечо — будто Планета толкнула его, надеясь разбудить. Он тряхнул головой и посильней ударил кулаком по камню — силы было не много, но резкая боль отрезвила, вернула ясные мысли. Гроза уходила, шквал летел дальше, а ветер с моря не стихал.

Планета помогает сильным. Как на всех птичьих островах, побережье выстилал пух и помет. Гагачий пух, пусть свалевшийся и сырой... Олаф натолкал немного под рубаху — прикрыл от холода хотя бы грудь и спину, — а из гнезда соорудил что-то вроде шапки. Но, понятно, без костра, даже в хорошем укрытии, одним пухом не согреться. Он тронул

тесемку на шею — зимней ночью амулет из маленькой двояковыпуклой линзы только символизировал огонь, но разжечь огня не мог. И хотя полярная ночь на этой широте закончилась дней десять назад, до рассвета все равно не дотянуть, и не факт, что он будет ясным.

Остров небольшой, мест для лагеря не так много. И пока гроза не ушла за горизонт, надо попытаться счастья...

Олаф долго взбирался на высокий гладкий валун, ободрал ногти, расцарапал ладони (успокоив себя тем, что на холоде это полезно, заставляет кровь бежать быстрее). Ветряк. Ветряк видно издали!

Никакого ветряка он не увидел, но примерно в полукилometре последние молнии высветили в темноте красно-оранжевый сполох — гиперборейский флаг цвета огня, нарочно выкрашенный так, чтобы его было издали видно в любую погоду: от яркого желтого до сочного красного. Надежда — вещь чрезвычайно вредная с точки зрения Олафа, а иногда и опасная — на этот раз прибавила сил. Сердце забилось быстрее, толкнуло остывающую кровь по артериям, дыхание стало чаще... Там люди. Он не один.

Вокруг появились деревца, искореженные холодными ветрами, острые камни сменились жестким мхом — он не был мертвым, этот островок...

Олафа шатало, судорогой скручивало не только ноги, но и косые мышцы живота, как-то слишком болезненно, изматываяще. Гагачий пух (особенно прикрывший затылок) помог продержаться еще несколько минут, но и эти минуты были на исходе. Он сосредоточился на том, чтобы не потерять направление, и плохо смотрел под ноги. Теперь он видел огненный флаг впереди, не поднимаясь на возвышения. Глаза привыкли к темноте — до лагеря оставалось не больше двух сотен шагов, когда Олаф споткнулся и не удержал равновесия. Задержка была досадной и глупой, падение неудачным. Стоило посматривать под ноги хоть иногда. Он думал, что споткнулся о кочку или деревце, распластавшееся по камню, хотя...

Олаф отпрянул и еще секунду продолжал сомневаться в увиденном.

Вот она, страшная расплата за маленькую надежду... Он споткнулся о ноги мертвеца — окоченевшего и полураздетого. И, не будь тело окоченевшим, Олаф решил бы, что кто-то с катера не дошел нескольких шагов до спасения, но... Даже в темноте довольно было пощупать тело, чтобы определить: смерть наступила когда угодно, только не в ближайшие полчаса. Кому, как не медэксперту отдела БЖ, в этом разбираться...

Связь с группой студентов прервалась пять дней назад. Скорей всего, вышла из строя рация или генератор ветряка, но жесткие инструкции отдела БЖ предписывали выслать спасательный катер, если связь не восстановится в течение сорока восьми часов. Олаф когда-то тоже ездил в такие экспедиции — студентов после зимних каникул часто отправляли на северные острова. Эта группа собирала штормовые выбросы, в основном, конечно, водоросли; студентов-медиков, как ребят с нервами покрепче, посылали бить тюленя, и им все завидовали (напрасно, кстати: охота на бельков — занятие не из приятных). Олаф хорошо помнил эти поездки, в юности две недели на необитаемом острове представлялись романтическим приключением, чем-то вроде детской игры в первых гипербореев, переживших потоп, в которой все по-настоящему, по большому счету — и матери вечером не позовут ужинать и спать.

Мертвое тело в двухстах шагах от времянки — не игра... Инструкция отдела БЖ перестала казаться ненужной перестраховкой: значит, не зря на Гагачий остров шел спасательный катер с десятком взрослых опытных мужчин на борту, не зря в состав группы спасателей входили следователь и медэксперт (он же врач, но сначала все-таки медэксперт). Вовсе не пожурить студентов им предстояло, не посмеяться над несданным зачетом...

Если живые оставили мертвого валяться в прямой видимости от лагеря, значит живым не до мертвых, значит им самим угрожает смертельная опасность, они сами нуждаются в помощи.

Олаф едва не забыл, что мало отличается от этого мертвеца, что тоже в смертельной опасности и запросто останется лежать на камнях не в двухстах, а в пятидесяти, скажем, шагах от времянки, — но он врач, он взрослый и сильный человек, он прибыл сюда спасать, а не спасаться. Может быть, именно эта мысль, снова подтолкнувшая остывающую кровь, позволила ему пройти последние двести шагов.

Подход к времянке перегородила мачта упавшего ветряка. Ветер трепал растянутые створки входа, катал волну по опавшей уроспоровой крыше над просевшими стенами, иногда взвивал огненный флаг, закрепленный над тамбуром, и понятно было, что внутри никого нет. Никого... из живых...

Паника накатила внезапно, именно паника, детский ночной кошмар, то, чего, наверное, боится каждый гиперборей. Это вбили Олафу в мозги до того, как он научился говорить: человек не может один. Не может выжить — лишь недолго продержаться. Ощущение одиночества было сродни приступу клаустрофобии, иррациональный страх

давил и требовал немедленного действия: бежать, кричать, звать на помощь... Ужас одиночества — как снежный ком: сколько ни кричи, никто не услышит, а потому еще сильнее хочется кричать. Олаф проглотил накатившую панику вместе с комом в горле — это холод снова туманит мозги. Планета, конечно, помогает сильным — тем, кто не рассчитывает на ее помощь.

Влезать внутрь пришлось на четвереньках — у входа крыша поднималась над полом едва ли больше, чем на метр, а ближе к центру и вовсе лежала на полу. Это была отличная надувная времянка, способная надежно защитить от холода, ветра и дождя — если работает генератор, подкачивая воздух в стены. С печкой внутри, пол из пемзовых блоков. Типовая шестиместная, где восемь человек размещались вполне свободно, а в широкий холодный тамбур вошли не только вещи и продукты, но и аккумуляторы, и заготовленные дрова. Там Олаф и наткнулся на фонарик — фонарик работал. Включить аккумулятор при недействующем генераторе он поостерегся.

Главное — не надеяться. Надежда оборачивается безоговорочной верой в лучшее и расслабляет. Зачем шевелиться, если веришь в лучшее?

Створки опустившейся внутренней двери оказались застегнутыми изнутри, и окоченевшие пальцы с трудом ковыряли пуговицу за пуговицей. Олаф, понятно, не боялся мертвецов, но... Но знал о них гораздо больше обычного человека... В любом случае, не хотелось бы ему найти внутри семь окоченевших тел.

Он подпер крышу багром, лежавшим в тамбуре, с трудом встал на колени и посветил вокруг. Времянка была пуста, снова в глубине души забрезжила коварная надежда: может, ребята живы? Может, они просто ушли с этого места по какой-то непонятной причине? Но тогда, вероятно, оставаться здесь опасно... Выбор был небогат: или вскорости умереть от холода, или рискнуть, оставшись внутри. Мысли в голове ворочались медленно и странно: с чего он вообще взял, что они мертвы? Профессиональная деформация?

Вещи — слишком много вещей — пребывали в беспорядке. Верней, в каком-то странном беспорядочном порядке. Сапоги рядом стояли у входа, на них грудой лежали свитера, штаны, штормовки, телогрейки, носки, варежки. Сверху груды накрывали куртки. Куртки... Понятно, что каждый имел с собой смену теплой одежды, может, и две пары обуви. Но вряд ли по две тюленевые куртки.

А как они вышли наружу, если вход закрыт изнутри? Вопрос показался слишком сложным, чтобы искать на него ответ.

Пока не найдены мертвые тела, Олаф был обязан предполагать, что они живы, и действовать так, будто они живы. Но предполагать и действовать — совсем не то, что надеяться. Мысль снова показалась странной: о действиях в его положении речь пока не шла. Верней, речь шла только об одном действии — согреться.

На толстых матрасах лежали расстеленные спальники, но сбились местами, будто о них спотыкались и путались в них ногами. Олаф разглядел даже отпечаток грязного сапога. По матрасам обычно не ходят в сапогах...

В печурке нашлись дрова, ее вот-вот должны были растопить, но почему-то не растопили — в положении Олафа эта маленькая деталь стала, наверное, решающим фактором. Двигаться, главное — двигаться, не расслабляться в шаге от спасения. А расслабиться очень хотелось, голова соображала плохо, медленно, тело не слушалось и будто налилось свинцом. Он видел множество людей, погибших в шаге от спасения.

Ветер обеспечил достаточный поддув в раструб нижней трубы, качать мехи не требовалось. Спички тоже нашлись без труда, и первое, что Олаф сделал, — разжег огонь, а уже потом переоделся, потом нашел аптечку, фляги со спиртом и канистры с водой, потом переставил подпиравший крышу багор и соорудил вокруг печки шатер из спальников, — шестиместную времянку не так просто прогреть и до комнатной температуры, а до тридцати пяти — сорока градусов вовсе невозможно. Он действовал механически, будто по инструкции, не рассуждая, не теряя времени — но все равно еле-еле... Думал, что от гипотермии часто умирают именно при согревании. И далеко не всегда неправильном.

Мысль о том, что замерзшего лучше всего отогревать человеческими телами, на этот раз показалась жутковатой и потребовала немедленно уточнения: живыми человеческими телами.

Вернувшийся озноб прошел только через несколько часов; не сразу, но отпустило заочневшие руки и ноги — боль выматывала, вытягивала жилы, сбивала и без того неуверенное дыхание и кончилась лишь тогда, когда Олаф совершенно уверился, что она не пройдет вообще. Взамен зажгло многочисленные ссадины и царапины, заныли ушибы, заболели мышцы, особенно на ногах. Есть не хотелось, но поесть нужно было обязательно — восстановить силы. Двигаться не хотелось тоже, и тем более не хотелось покидать теплый шатер.

Консервы и крупу Олаф без труда нашел в тамбуре и лишь тогда вспомнил о рации. Пошарил фонариком по времянке — рации нигде не было. Может быть, покидая лагерь,

ребята взяли ее с собой? Но почему тогда оставили теплую одежду? Вместо рации обнаружилась кожаная папка с документами.

После выхода в холодный тамбур снова начался озноб, Олаф подбросил в печурку немного дров, поставил греться банку консервов с китовым мясом и кружку воды. Он чувствовал себя донельзя усталым, чтобы варить крупу.

От еды его развезло, потянуло в сон, и, пожалуй, только теперь можно было не опасаться смерти от холода — шатер сохранит тепло в течение нескольких часов. Если отправиться на поиски ребят сейчас, он, во-первых, ничего не найдет (если вообще встанет), лишь напрасно потратит силы. Во-вторых, ничем ребятам не поможет, зато станет для них лишней обузой. Не стоит суетиться ради того, чтобы успокоить собственную совесть.

Олаф улегся поудобней, завернулся в спальник, погасил фонарик и приоткрыл печную дверку — от догоравших углей в обветренное лицо хлынул восхитительный жар, шатер наполнился смутным оранжевым светом. Блаженно закружилась голова, Олаф зевнул и прикрыл глаза. И тут же услышал негромкую возню у входа во времянку — кто-то расстегивал пуговицы, чтобы войти внутрь.

И, наверное, правильно было бы обрадоваться, помочь — снаружи пуговицы расстегивать неудобно — или хотя бы выбраться из шатра навстречу пришедшему. Но тело стало вдруг ватным, дыхание замерло и сделалось тихим, поверхностным, зато сердце стучало в уши оглушительно, не давая толком прислушаться...

Звякнула посуда, сложенная в мешке у выхода в тамбур. Там нельзя было выпрямиться в полный рост, и кто-то пробирался к шатру на четвереньках. Ни одному гиперборею не придет в голову бояться человека, и Олаф вряд ли мог вразумительно объяснить самому себе, почему не в силах шевельнуться, почему со лба на висок медленно сползает капля пота, и ее никак не вытереть...

Полог шатра приоткрылся, дохнуло холодом, и чуть ярче загорелись угли — Олаф совсем перестал дышать, лишь смотрел широко раскрытыми глазами, как в шатер неуклюже пролезает темноволосый паренек в шерстяной рубашке и кальсонах.

Он сел на пол неподалеку от печной дверки, в ногах Олафа, зябко обхватил руками плечи и пробормотал:

— Как там холодно...

В словах этих было только отчаянье — острое, щенячье... Оно оглушило сильнее, чем страх минуту назад: Олаф знал, как там холодно.

Угольки в печке потрескивали потихоньку, давая все меньше света, но бледное лицо в полутьме все равно было видно отчетливо: в лобной области слева мелкие ссадины бурого цвета, осаднение кожи неопределенной формы на левой скуле... м-м-м... два с половиной на полтора сантиметра. Отморожение левого уха третьей-четвертой степени. Аналогично концевые фаланги второго и третьего пальцев правой руки темно-бурого цвета. Пястно-фалангиальные сочленения на правой руке покрыты ссадинами буро-лилового цвета пергаментной плотности. Подрался? Да нет же, повреждения больше похожи на агональные. Впрочем, может, и не в агонии, но уже в состоянии гипотермии.

Олаф осекся, холодея. Он слышал, что в допотопные времена люди его профессии быстро спивались, но для себя считал это чем-то... унижительным... Пить от страха — что может быть глупей? А тут подумал о фляге со спиртом с вожделием, хотя спирт при гипотермии вовсе не полезен.

Угли совсем погасли, темнота становилась кромешной... Ветер свистел в незакрытой печной трубе, а где-то далеко, слышный даже сквозь полог из пуховых спальников, грохотал прибой: потревоженный грозой Ледовитый океан не спешил успокоиться.

Олаф лежал без сна и без движения — или ему казалось, что без сна?

Он проснулся от холода и увидел сквозь щель в пологе смутный свет.

Чем он думал, когда улегся спать, не закрыв вьюшку? Боялся угореть? Теперь драгоценное тепло ушло в небо...

Он проспал рассвет! Световой день здесь не более шести часов, и сколько из них прошло — неизвестно!

Рассвет разгоняет ночные страхи, мысли становятся трезвыми, а иногда — слишком трезвыми. Понятно, что согревание после такой теплотери может вызвать не только кошмарные сны, но и галлюцинации...

Вылезать из-под спальника не просто не хотелось — от воспоминания о холоде сжималось все внутри, даже дыхание перехватывало, как будто снова предстояло нырнуть в ледяную воду. Мысль о скоротечности светового дня подтолкнула наружу и сняла дыхательный спазм. На движение мышцы отозвались болью — крепатура, ничего удивительного после нарушения периферического кровообращения, она пройдет, если шевелиться.

Во времянке было гораздо светлей, чем под пологом: надувные уроспоровые стены и крыша пропускали свет. Олаф поискал куртку и сапоги себе по размеру — некогда

завтракать, поесть можно потом, когда стемнеет. На этот раз есть хотелось сильно, и он попил воды.

Пришлось снять меховую безрукавку — куртка на нее хоть и налезала, но мешала двигаться (в кармане обнаружился компас). Ну и в теплые сапоги двух пар носков — таллофитовых и шерстяных — было вполне достаточно. Это ночью, с перепугу, Олаф натянул на себя все, что только подвернулось под руку. На всякий случай он надел еще грубые уроспоровые штаны, хорошо защищавшие от ветра, направился к выходу и остолбенел: пуговицы на внутренних створках двери были расстегнуты. Нет, не может быть... Он хорошо помнил, как долго возился с ними. Или это случилось в первый раз, а после вылазки в тамбур за консервами он про пуговицы забыл?

Времянка стояла под прикрытием валунов, в самой высокой точке северного берега. Островок, немного вытянутый с севера на юг, имел форму чаши. Или лодки с задранном носом: лесистую впадину с четырех сторон окружали гребни невысоких гор. Покатые внутри, снаружи они скалами обрывались в море, только северный берег шел к воде полого. От лагеря на юг и юго-запад вел гладкий склон, устланный мхом и водяникой, с редкими карликовыми деревцами, размазанными по каменистой земле; на горизонте вздымались обледенелые скалы южного берега, а на дне чаши лежал березовый лес, удивительно белый в этот час, с заиндеветыми ветвями: морозец был легкий, градуса три, но при изрядной влажности и на ветру — ощутимый.

Несмотря на прикрытые с востока, лагерь насквозь продувался мокрым северным ветром. Зачем они разбили лагерь на высоте? Чтобы обеспечить бесперебойную работу ветряка? То-то он не устоял... Чтобы с любой точки острова видеть лагерь? А может, попросту на удобной горизонтальной площадке? Должно быть, расположение лагеря выбрали из-за близости к пологому берегу, где и сейчас работы для сборщиков штормовых выбросов было хоть отбавляй. Растительность появлялась на высоте примерно тридцати пяти метров над уровнем моря. Олаф прикинул, какой рельеф может быть на этом шельфе: да, примерно так, тридцать-тридцать пять, выше *Большой волне* не подняться.

Он оставил выбор места для лагеря на совести инструктора.

У задней стены времянки стояла бочка с морской водой — значит, пресной на острове не было, умывались соленой. К бочке крепился рукомойник и мыльница, рядом валялось ведро. Ее не успели набрать полностью, хорошо если принесли десять ведер. И, наверное, где-то должно было быть второе ведро — ходить за водой не близко...

Океан лениво катил на берег высокие круглые волны мертвой зыби, небо затянула тонкая серая дымка, сквозь которую кое-где пробивалась ясная весенняя бирюза. Олаф глянул на компас: диск солнца в туманной пелене отклонялся от полудня на двадцать два градуса — в сторону востока. Он проспал лишних часа полтора (а точнее, часа три, если вспомнить о пропущенном завтраке), местное время — половина одиннадцатого утра.

Главное — не суетиться и не пытаться сделать то, что заведомо не даст результата.

Перво-наперво Олаф осмотрел ветряк и сразу обнаружил рацию: тяжелая лопасть прорвала стенку тамбура и сплющила тонкий металлический корпус передатчика. Олаф не очень хорошо разбирался в электронике, но все же сунулся внутрь — понял, что рацию без полного набора радиодеталей не починил бы и мастер... И незачем было надеяться...

На его счастье, мачта ветряка оставалась целой — ветряк просто опрокинулся. То ли недостаточно хорошо укрепили основание, то ли заклинило горизонтальный поворотный механизм и мачта не выдержала сильного порыва ветра. Лопасть, убившая рацию, погнулась при падении, но это не страшно. Страшно, если от удара из строя вышел генератор.

Поднять ветряк в одиночку — дело непростое, особенно если деревянные мышцы ноют от каждого движения, но все равно гораздо быстрее, чем в одиночку прочесать остров в поисках пострадавших. При шестичасовом без малого световом дне электричество лишним не будет. Помощь придет самое раннее через четверо суток, а учитывая февральскую погоду — гораздо позже. Гагачий лежит в южной оконечности архипелага Эдж, до Большого Рассветного — полтыщи миль, и вряд ли ОБЖ задействует пограничников для спасения столь малочисленной группы, хотя их база находится гораздо ближе и скоростью военные катера раза в два превосходят суденышки спасателей.

Генератор заработал за час до заката, начал потихоньку поднимать опавшие стены временки. Нашлась и лампа в разбитый прожектор. Теперь ветряк будет видно и днем и ночью — если на острове есть живые, увидев его, они догадаются или вернуться, или подать сигнал. Разбитый прожектор Олаф поднял под самые лопасти, а обнаруженным запасным осветил площадку перед временкой. Поправил короткий флагшток над входом — чтобы огненный флаг развернулся под ветром на всю ширину. В случае чего была возможность натянуть тент: возле временки лежали стойки, а под аккумулятором — сложенное уроспоровое полотно.

Вряд ли за один световой день можно было сделать больше... В темноте ничего и никого не найти. За оставшийся час надо нарубить дров и поднабрать камней, обложить ими печку, чтобы тепло уходило не так быстро.

Олаф осмотрелся и вздохнул. Звонящий ветер, шорох лопастей ветряка, шум прибоя и печальная песня орки в океане. Он пригляделся: показалось, что на волне мелькнул черный серп плавника. Впрочем, ничего удивительного не было в том, что косатки, шедшие с катером, остались у острова. Они бы, конечно, в океане не заблудились, дорогу на Большой Рассветный нашли и от голода по пути не умерли, но... Олафу доводилось видеть, как перед *Большой волной* киты без команды уводят в открытый океан плавучие острова, а потом возвращают их назад. Они чувствуют ответственность...

Когда стены приподнялись достаточно, стало ясно, почему временка была закрыта изнутри: ребята покидали ее через пожарный выход. В типовой временке два пожарных выхода, оба ближе к торцу, дальнему от двери, напротив друг друга. Здесь один вел на север, другой на юг. Воспользовались южным — на его месте зиял пустой прямоугольный проем, и по временке гулял ветер. Пожарный выход открыть нетрудно, довольно хорошенько толкнуть плечом; закрывается такая «дверь» тоже без особенных хлопот, но выбитой панели не было — должно быть, ее унесло ветром. Пришлось повозиться, заложить проем матрасами...

Свист орки рвал душу — будто плакальщица, она скорбела (заставляла скорбеть) о тех, кто не доплыл до этого берега. Не стоило о них думать — приступ паники одиночества накатил снова, только не бежать и кричать хотелось, а сесть и скулить вместе с косаткой. На Большом Рассветном, да и в экспедициях (пожалуй, в экспедициях особенно) Олафу часто хотелось, чтобы его оставили в покое. Он любил быть один и не скучал наедине с собой. Терпеть не мог компаний, вечеринок, посиделок. Но «побыть одному» и остаться в одиночестве посреди океана — это разные вещи. Пропадало чувство защищенности, появлялось ощущение уязвимости, наготы, малости своей и слабости...

Да, правильной было бы нарубить дров и набрать камней, но Олаф вовсе не о том думал весь день (не желая отдавать себе отчет, о чем думает). Да, инструкции отдела БЖ — это двухсотлетний опыт выживания людей после потопа, они не высосаны из пальца: сначала нужно заботиться о живых, и только когда живые в безопасности, можно скорбеть о мертвых. Тратить силы на мертвых... Но кому, как не медэксперту ОБЖ, знать, что мертвым не все равно...

Олаф снова вздохнул и направился по склону вниз, в сторону берега. Двести шагов.

Он мог бы и не заметить тела, если бы не знал о нем, — цвет рубашки и кальсон сливался с белесым мхом и серыми камнями.

Мертвый паренек лежал на боку: руки согнуты в локтях, сжатые кулаки на груди, голова опущена, ноги до предела согнуты и в тазобедренном, и в коленном суставах. Головой по направлению к лагерю. Олаф подошел вплотную. На лбу и веках — царапины, на левой скуле ссадина... два с половиной на полтора... Ободраны костяшки правого кулака, отморожены концевые фаланги двух пальцев... Это игры подсознания: Олаф видел тело на склоне, и, хотя было темно, вполне мог разглядеть повреждения — по профессиональной привычке. А ночью у печки это неосознанное воспоминание явилось ему кошмаром. Только и всего.

Судить о времени смерти по окоченению трудно: холодно, температура колеблется около нуля; сильный, здоровый парень, физическая нагрузка перед смертью — окоченение может держаться несколько суток.

Олаф глянул на свой правый кулак, разбитый ночью о скалу, — конечно, удар получился не очень, но повреждения кожи были глубже и заметней, практически без кровоподтека. Потому что к кистям рук кровь тогда почти не поступала. Так что вряд ли парень сознательно бил кулаком по камню — скорей, это были произвольные движения. И точно после того, как начался отток крови с периферии. Ссадина на скуле не имела корочек, под ней не осталось синяка — получена незадолго до смерти.

Рано делать выводы, но это скорей всего холодовая смерть. Олаф сталкивался с ней довольно часто и имел право строить достоверный прогноз. Почему ночью ему в голову пришла мысль о драке? Высадка на острове — не время мериться силой и выяснять отношения. Хотя... в двадцать лет гормон играет и молодая кровь кипит. Олаф попытался вспомнить себя в двадцать лет, на острове, где они били тюленя. Повздорить — да, случалось, но разодраться? Это в десять лет событие заурядное — в двадцать нужно иметь вескую причину, принципиальную.

Олаф поставил вешки, обозначившие положение трупа, поднял окоченевшее тело и перекинул через плечо. Двести шагов, можно не делать волокушу. Шагнул вперед и вверх, пошатнулся — тяжелая была ноша.

Нет, не в двадцать — в девятнадцать было, после первого курса. Не совсем драка — тогда он называл это поединком. Из-за Ауне. Глупо и напоказ.

Олаф возил ее в Маточкин Шар, на праздник Лета. Лето... Какое это было волшебное, сказочное лето... От озера Рог пахло тиной и рыбьей чешуей, от земли — травой и картофельной ботвой. Летние звуки и запахи, такие привычные, такие знакомые;

до блеска отшлифованные тляпой ладони, мошкара, даже жжение на сгоревших плечах — после года на Большом Рассветном возвращение в Сампу казалось наваждением, еще не осознавалось как счастье, но несомненно им было. И Ауне... Ей тогда едва исполнилось пятнадцать, она была влюблена в Олафа всю жизнь, все знали, но разве раньше его это волновало? Он только беззастенчиво этим пользовался.

Он помнил то лето с самого первого дня возвращения на Озерный...

Картошку окучивали всей разновозрастной компанией, которой дружили с детства, которой каждый день ходили в школу. Они знали друг друга не хуже родных братьев и сестер. К полудню от теплой земли поднималась легкая дрожащая зыбь, девчонки разделись до купальников. Ауне выбирала корешки, не садилась на корточки, а просто нагибалась, и когда Олаф видел ее сзади, его окатывало жаром, смущением от собственных недостойных мыслей, но глаз он оторвать не мог. У нее были очень красивые ноги, длинные и прямые.

— Оле, надень рубашку, — как-то сказала она, случайно поравнявшись с ним.

— Зачем? — не понял Олаф. И даже хотел ответить, чтобы она надела юбку, но вовремя удержался.

— Ну накинь хотя бы на плечи, а то совсем сгоришь.

Он еще не чувствовал, как жжет спину, — это всегда заметно потом, особенно к вечеру. Жесткое гипербореическое солнце, дырявый озоновый слой...

Вечером он не нашел ничего лучшего, чем прыгнуть с Синего утеса. Хотелось сделать что-нибудь такое, отчаянное... Детям запрещали подходить к утесу, они даже не подначивали друг друга никогда: утес — это для взрослых, детям тарзанка, не низкая вовсе, метров на пять над водой взлетала, если хорошо оттолкнуться... Но Олаф-то был уже взрослым!

Утес поднимался над озером гораздо выше, и, конечно, в первый раз прыгать полагалось солдатиком, но это Олаф посчитал для себя унижительным. Все мужчины в Сампе рано или поздно ныряли с утеса, это было что-то вроде посвящения — событие в некоторой степени торжественное, случавшееся под праздник, когда купалась вся община. Нырнуть с утеса на глазах у малолеток солидным не считалось, более того — остальные могли и обидеться. А как же советы, подначки, смешки? Наверное, этого Олаф хотел меньше всего.

Он ничего не сказал ребятам, ушел незаметно. И, поднявшись на утес, долго ждал, когда кто-нибудь посмотрит в его сторону. А когда они замерли с открытыми ртами,

примерился небрежно и прыгнул. Красиво нырять умели все, но высота... Олаф и не представлял, что такое высота...

Нет, он не плюхнулся в озеро животом (тогда бы точно убился), но что-то пошло не так, от удара о воду вывернуло руку, оглушило, хлестнуло по лицу с одной стороны и сразу — по ногам. Тело под водой закрутило веретеном, Олаф едва не захлебнулся, потом не мог сообразить, куда плыть, где верх, а где низ...

Вынырнул, конечно. Доплыл до берега. Щека горела так, будто с нее содрали кожу. На ноги было не наступить, руку ломило чуть не до слез. Покрасовался, нечего сказать... Но ребятам понравилось — они бежали к нему с воем и восторженными криками, хлопали по плечам, поздравляли... И Ауне смотрела с испугом и радостью, качала головой. Она первая заметила, что у него не двигается рука. Вывиха не было, просто подвернулась в локте — за руку дернули тут же, чтобы не дать Матти повода для насмешек. Олафу едва хватило сил не крикнуть, а на глаза выкатились две тяжелые слезы и предательски поползли по щекам. Он смахнул их, будто бы вытирая мокрое лицо, и надеялся, что Ауне этого не увидела.

Наутро половина лица заплыла ярким красно-черным синяком, обе ноги тоже посинели от пальцев до колен — мама даже вскрикнула, когда Олаф вышел к завтраку. Отец покачал головой и недовольно сложил губы.

Матти заглянул в гости, смерил Олафа взглядом и спросил:

— Взрослым решил стать?

Олаф пожал плечами, стараясь не опускать глаза. Имел право!

— Вот потому оно и детство.

— Почему? — с вызовом спросил Олаф. Ну или постарался, чтобы это прозвучало как вызов.

— Взрослый ценит свою жизнь. Взрослый понимает, когда стоит рисковать своей шеей, а когда не стоит. И отличает позор от безобидных насмешек. Он бы прыгнул солдатиком.

Олафу пришлось это проглотить. Матти часто говорил, что стержня у Олафа нет — только панцирь, хитиновый покров, как у краба, а под ним мягонькое брюшко...

Вообще-то он приходил взглянуть на оценки Олафа, и это тоже было неприятно — отчитываться перед ним. Олаф хорошо закончил первый курс по университетским меркам, с одной тройкой (совершенно несправедливой, впрочем). И когда готовился к экзаменам, думал именно о том, что придется отчитываться перед Матти, не хотел дать ему повода для колкостей и презрительных замечаний. Уже потом, заканчивая

университет, Олаф понял, что без них, без этого странного противостояния, без желания что-то Матти доказать, он бы учился совсем не так, без азарта. Тогда, в девятнадцать лет, ему казалось, что Матти относится к нему предвзято, не любит лично его — ведь того же Богдана, который учился в Маточкином Шаре на судового механика, он никогда не поддевал так едко, наоборот хвалил, хлопал по плечу, хотя Богдан еле-еле вытянул второй год обучения.

Это Олаф тоже понял потом — он мог бы гордиться таким отношением к нему со стороны Матти, Матти считал его сильным и способным на большее, а Богдана ничего не стоило сломать, без поддержки он бы не добился успеха.

Отец научил Олафа жалеть людей, а Матти — не жалеть самого себя.

Олаф сильно переменился с тех пор, стал замкнутым и скучным, а дома и раздражительным. Словно работа высасывала из него кровь. Он не уставал физически, даже наоборот, все время чувствовал недостаток движения: бегал по утрам, в выходные играл в футбол и всегда соглашался отправиться в спасательную экспедицию, если предлагали выбор, из-за чего Ауне обычно на него сердилась.

Если капитан успел передать сигнал бедствия, ей сообщат об этом... Олаф снова покачнулся, неудачно наступив на камень, и скрипнул зубами. Ауне никогда не питает напрасных надежд, она двадцать раз переживет его смерть еще до того, как о ней станет известно. Она потому и сердилась из-за экспедиций — каждый раз заранее переживала его смерть.

Орка примолкла, Олаф не сразу это заметил. А может, пела теперь на высоких частотах — человек не слышит и четверти звуков, которые издают косатки. Есть гипотеза, что видения, которые являются людям на необитаемых островах, посылают киты. Впрочем, Олаф знал еще с десятков не менее сказочных гипотез...

Он положил тело на землю неподалеку от ветряка и не сразу понял, что его смущает. Специфика его профессии, с одной стороны, предполагала некоторую степень цинизма, но с другой... Уважение к мертвым, к смерти присуще всем культурам и цивилизациям, во всяком случае Олаф не мог припомнить другого. Даже воинствующий атеизм имел свои погребальные обряды. Страх перед смертью заставляет ее уважать. Аутопсия не может обходиться без цинизма, он — защита, бравада, брошенный смерти вызов, лекарство от страха. Наверное, не каждый, кому доводится иметь дело с мертвыми, понимает, но почти все подсознательно чувствуют: смерть принимает этот вызов. А потому, беспардонно (бесстрашно) вторгаясь в табуированную еще на заре времен область, смерть все равно нужно уважать. И уважать — вовсе не значит бояться.

Олаф подумал немного и, достав из времянки спальник, накрыл им мертвеца. Правильней было бы отрезать кусок уроспорового полотна от тента, однако Олаф почему-то выбрал спальник. Вряд ли парень под ним согреется, но...

Солнце повисло над скалами, до темноты — уже не до заката — оставалось совсем немного времени, и, оценив запас дров, Олаф решил начать с камней.

Только через час, сидя в своем шатре у печки, в ожидании, когда же сварится крупа, он подумал, что просто не хочет спускаться в сторону березового леса и находит для этого множество веских причин. Это ему не понравилось: Олаф не любил обманывать самого себя.

Теперь шатер освещала переноска, а во времянке было довольно света от наружных прожекторов, но Олаф все равно нашел лампочку взамен разбитой под потолком. Поставил на место опрокинутый разборный столик и две складные табуретки к нему. В шатре было гораздо теплее, и он поймал себя на том, что панически боится замерзнуть... Нет, не умереть от холода — просто озябнуть.

Позавтракав и пообедав одновременно, Олаф наконец-то взялся за документы, которые нашел еще накануне.

Да, семь студентов и инструктор. Механический факультет. На дне не очень толстой папки лежали медицинские справки и личные листки с фотографиями. Лори (Маяк), 20 лет. Эйрик (Инджеборг), 22 года. Саша (Бруэдэр), 19 лет... Олаф загнулся на следующем личном листке: Сигни (Бруэдэр), 20 лет. Девушка? С ними была девушка? В его времена на северные острова ездили только ребята. Когда же это ОБЖ разрешил девушкам принимать участие в таких приключениях? Олаф посмотрел следующий листок: Лиза (Парусная), 20 лет. Две девушки...

Если они живы, надо немедленно, сейчас же их найти! Девушки не должны умирать, это... это что-то невозможное, что не умещается в голове. Олаф даже поднялся, даже потянулся за курткой, и только вспомнив, что сперва надо снять телогрейку, осекся. Можно хоть всю ночь бегать по острову с фонариком — ничего не изменится. Разве что совесть успокоится.

Он бы никогда не взял Ауне с собой. В любую из экспедиций. И не потому что она могла погибнуть — о таком он и помыслить не смел, — а потому что она могла застудиться. В обществе, где выживает двое детей из шести рожденных, женщин нельзя не беречь, женщины и дети — главное достояние новой цивилизации. Критерий выживания индивида — способность самостоятельно дышать воздухом, критерий выживания

общества — закрепленный генетически инстинкт защищать и беречь тех, кто слабей. Может быть, в этом постулате и было что-то ненаучное, может, его и возводили в культ, но Олаф чувствовал в себе этот инстинкт.

По инструкции отдела БЖ в экспедицию могли взять женщину старше сорока и только если младшему ее ребенку исполнилось шестнадцать. Почему, почему девушкам разрешили ехать на этот чертов остров? Чем они там думали? Ну да, Олаф слышал о брожении в студенческой среде — и о правах человека, и о правах женщин. Щенки. Просто живут слишком хорошо, потому и рассуждают о каких-то правах. Родители Олафа помнили те времена, когда дома освещала вонючая я ворвань... Но как отдел БЖ мог пойти у студентов на поводу? Или жизнь на острове зимой уже не угрожает здоровью девушки? Когда Олаф ездил бить тюленя, они жили в палатках, а не во времянках, пемзовых плит под них не подкладывали и ветряков в лагере не ставили.

Он просмотрел листки до конца — больше девушек не было. Холдор (Металлический завод), 21 год. Гуннар (Песчаный), 22 года. И инструктор — Антон (Коло), 35 лет. Олаф попытался вспомнить, не встречался ли он с инструктором раньше, в общине Коло у него было много приятелей, да и лицо на фотографии показалось смутно знакомым. Может, и встречался. Почти ровесники, наверняка учились одновременно. Общежития механиков и медиков когда-то стояли рядом, и они традиционно соперничали друг с другом: механики презирали медиков, медики — механиков.

Вычислить по фотографии, кто же из студентов лежит сейчас под ветряком, было непросто. В медицинских справках указывались антропометрические данные, и Олаф отложил три личных листка с подходящим ростом и весом (цвет волос по фотографиям не определялся), а потом долго всматривался в лица. Смерть искажает черты лица, иногда до неузнаваемости, так же как и маленькое фото... Точно измерить рост окоченевшего тела почти невозможно, но Олаф редко ошибался больше чем на два сантиметра.

Эйрик. Это был Эйрик. У Холдора густые широкие брови, у Саши — тонкие губы и близко посаженные глаза, волосы темней. Лори выше и тоньше в кости, Гуннар — ниже и тяжелей.

В папке нашлись чистые листы бумаги, и довольно много, а также авторучка и карандаш. Олаф, не досмотрев до конца все имеющиеся документы, включая журнал экспедиции, начал составлять что-то вроде протокола осмотра места происшествия, но по ходу дела понял, что при осмотре тела был озабочен своими ночными кошмарами, а не объективной информацией.

Он отложил авторучку и думал недолго — пока расстегивал безрукавку.

Прожектора он установил неудачно, они освещали площадку с одной стороны, создавая глубокие черные тени, — работать в таких условиях невозможно. Пришлось немного опустить верхний, разбитый прожектор, а второй закрепить на растяжке мачты — не очень крепко получилось, учитывая усилившийся ветер.

Соорудить секционный стол на острове — задача непростая, но кое-какой опыт Олаф имел, выезжать в такие места приходилось часто. Пожертвовал на него стойки для тента и кусок уроспорового полотнища — сколотить две крестовины, жестко соединить в торцах и натянуть на торцы полотно. Нашлась и сапожная игла, и вощенные нитки; молотка не было, зато топоров — три штуки. Эдакий складной стол получился, и чем сильнее давить на торцы, тем сильнее натягивается «столешница». Олаф попробовал на нее сесть, конструкция сложилась — он прибил к крестовинам распорки.

Тенту тоже нашлось применение, его Олаф шатром закрепил на мачте и ее растяжках — вышла просторная палатка, освещенная и хорошо защищавшая от ветра. Усилил основание и укрепил растяжки — парусность у ветряка теперь будьте-наде, того и гляди взлетит... Нет, глупо это было — устроить лагерь на возвышении, а впрочем... Олаф подумал вдруг, что поставь они времянку дальше от берега, на защищенном от северного ветра склоне, и его бы уже не было в живых.

Смешно жалеть чемоданчик с инструментом, ушедший на дно вместе с катером, хоть и собирал его Олаф любовно и много лет, — не самая большая потеря по сравнению с людьми. Ладно инструмент — всегда можно воспользоваться тем, что под рукой. А вот перчатки... Конечно, тело еще не гниет, но все равно есть риск. Поначалу он относился к этому легкомысленно, но однажды, уколовшись, три месяца лечил флегмону... После вчерашнего все руки ободраны. И запах остается даже в перчатках, а уж без них...

Нет, вязаные перчатки еще хуже. Разве что, совершенно случайно, есть рабочие, таллофитовые, а не шерстяные. Не сильно помогут, но все же...

В аптечке, на его счастье, нашелся не только йод, но и жидкий пластырь — обработать ссадины и царапины на ладонях — и детский крем, чтобы смазать руки.

Олаф собрал кое-какой «инструмент» — жалкое подобие нормального инструмента; в самом деле наткнулся на таллофитовые перчатки — в посуде, как ни странно, и сразу несколько пар; подумав, снял куртку и надел телогрейку — удобней двигаться, а под тентом ветра почти нет. Нарукавники он не любил, но все же испортил пару носков и натянул их поверх рукавов свитера.

Когда он выбрался из временки, над океаном снова плыла печальная песня кита. Ветер свистел на одной высокой ноте, низко хлопала погнутая лопасть ветряка, гудел генератор, ритмично гремел прибой — что говорить, музыка была атмосферная, во всех смыслах... Из-под отброшенной полы тента на временку и площадку возле нее падал ровный треугольник яркого света, а за его пределами собралась крошечная темнота. До бочки с водой свет не дотягивался, выходить на территорию темноты — хоть и на несколько шагов — было неприятно. И конечно, лучше бы иметь оба ведра — одно для воды, другое под сток, — но пришлось довольствоваться одним, а под сток приспособить кастрюлю.

Олаф зашел под тент и сдернул откинутую полу — будто хлопнул дверью. Не тут-то было — ветер рванул ее в сторону и вверх, и... Нет, только показалось: на краю пятна света мелькнула какая-то тень. Ветер. Понятно, что это всего лишь ветер. Олаф дернул полу обратно, привязал ее угол к растяжке у самой земли и сверху придавил камнем.

Нет, однозначно, в телогрейке было удобней, чем в куртке... Он нагнулся и снял спальник с мертвого тела. Согнутые руки изменили положение, опустились, расслабились, подбородок уже не прижимался к груди. Только ноги выпрямились не до конца. Вообще-то температура воздуха не располагала, но, похоже, исчезало трупное окоченение. Согрелся, что ли, под спальником? Олаф усмехнулся.

Взгромоздить тело на стол было тяжелей, чем двести шагов пронести на плече. Молодой, здоровый, сильный парень...

— Ну что, Эйрик? — Олаф с трудом разогнулся: потянул, должно быть, спину, поднимая тяжелое тело на вытянутых руках. — Начнем.

Голова не покрыта. Одежда влажная на ощупь. Плотная шерстяная рубашка грязно-песочного цвета заправлена в брюки. Расстегнуты три верхние пуговицы. Воротник поднят. На манжетах пуговицы застегнуты. В нагрудном кармане огрызок карандаша. Под рубашкой — теплая с начесом нательная рубаха, под ней трикотажная таллофитовая майка-безрукавка. (Маловато для такой погоды.) Амулет гиперборея на прочной нитке. Утепленные кальсоны (комплект с рубахой), тонкие кальсоны (комплект с майкой), черные трикотажные трусы. На правой ноге протертый на подошве трикотажный носок, вязанный шерстяной носок, под ними — еще один трикотажный носок. На левой ноге — один вязанный носок, валяная стелька, трикотажный носок. Шерстяные носки составляют пару, трикотажные (все три) — разных цветов и размеров. Носки и стелька влажные — промокли? Мацерация стоп отсутствовала, значит с мокрыми ногами парень ходил

недолго или не ходил вообще. Одежду, скорей всего, промочил вчерашний дождь со снегом...

Сбоку, за тонкой полотняной стенкой, камень тихо стукнул о камень. Будто кто-то неловко на него наступил. Звук был отчетливым, перекрыл свист ветра и гул ветряка.

Олаф еще раз пощупал снятые вещи и даже приложил к телу, чтобы не ошибиться, — вчерашний дождь не мог намочить тот бок, на котором парень лежал. С одной стороны, вода могла подтечь под тело, с другой — он мог промокнуть и до смерти. Неизвестно, какая погода была на острове в последние четверо суток, не исключено, что вчерашний дождь был не первым и не последним. Судя по тому, что тело не промерзло, температура вряд ли опускалась ниже двух-трех градусов мороза. Но если бы парень промочил ноги хотя бы за час до смерти, на стопах присутствовала бы мацерация. Или нет? Посоветоваться было не с кем.

Мелкие царапины на лбу, ссажен кончик носа и наружный край левой надбровной дуги. Ссадины: на левой скуле значительная и мелкие на левой щеке. На правой руке ободраны костяшки кулака. «Гусиная кожа» в области предплечий, передней и боковой поверхностях бедер.

Снова за тентом раздался стук камней друг о друга, повторился дважды, приближаясь, — будто кто-то сделал три шага. К тенту. Ветер слегка оттягивал стенку наружу — с северной стороны тент надувался парусом, иногда опадал и хлопал, а с южной движение было гораздо спокойней. Оттого именно южная стенка казалась почему-то уязвимой, тонкой. А может, потому, что Олаф стоял к ней ближе?

Осаднение ладоней, характерное для падения лицом вперед. Аналогично — на локтях и коленях. Получены в состоянии гипотермии, без кровоизлияния в подлежащие ткани. Точно такие же остались на коленях и локтях у Олафа. Шел вверх? По всей видимости да, иначе падал бы не вперед, а назад. Да и повреждения при падении вперед на спуске были бы серьезней. Ни на затылке, ни на копчике повреждений не имелось.

Правая нога сбита сильнее левой (стелька?), отморожение большого пальца правой ноги значительней, чем на левой (точно стелька). Кожа мошонки морщинистая, яички у входа в паховые каналы, головка полового члена розовато-красная — признаки прижизненного переохлаждения.

Кто-то в шаге от южной стенки тента переступил с ноги на ногу — в двух шагах от Олафа. А потом оттянутое наружу полотно прогнулось немного внутрь — будто на него нажали рукой снаружи. И показалось, что ткань облегает ладонь. Олаф решил, что больше не станет оборачиваться в ту сторону, и перешел в изголовье секционного стола.

— Не бойся, это не больно.

Он ловил иногда еле заметный трепет мертвецов, когда брался за секционный нож. Впрочем, это мог быть и его собственный трепет... Олаф провел разрез уверенно, без отрыва — через темя от уха до уха, — отпарировал мягкие ткани от кости и обеими руками стянул кожу с макушки и лба на лицо.

— Не переживай, потом сделаю, как было.

В привычной жизни на Большом Рассветном Олаф был нелюдим и неразговорчив, но, оставаясь в секционной наедине с мертвыми, частенько с ними заговаривал. В госпитале любили над этим пошутить — Олаф-де находит общий язык только с покойниками. Здесь, в одиночестве, собственный голос звучал неуверенно, неестественно, пугающе. Только безумец будет говорить с мертвецом...

Он стянул с головы и задний лоскут кожи, отпарировал височные мышцы. Делать простой циркулярный распил — на лбу останется борозда, оставить лобную кость целой — попробуй ножовкой по дереву сделать распил с углом, а потом без нормального инструмента не повредить мозг.

Молодой парень. Вряд ли его родители вразумительно объяснят, почему им не все равно, как он выглядит в гробу. Они бы предпочли его в гробу не видеть вообще. Но это важно — каким они увидят его в последний раз. И следы вскрытия обычно причиняют родственникам лишнюю боль. Олаф считал, что не переломится, если сделает сложнее, но лучше.

Под ножовкой не ощущалась глубина распила и податливость кости.

Холодовая смерть — диагноз исключения. Это значит, надо проверить все, и проверить тщательно. Микроскопа нет, гистологии не будет. Признаки гипотермии вовсе не означают смерть от гипотермии. Олаф вскрывал однажды мужчину, подавившегося костью, и нашел в желудке пятна Вишневого, которые считают чуть ли не бесспорным признаком холодовой смерти. А выяснилось, что за три дня до случившегося покойный упал с волнореза и долго не мог выбраться на берег из-за волны, жив остался чудом. После этого его товарищи говорили, что он будет жить сто лет, и ошиблись. Олаф старался не дразнить смерть подобными утверждениями. Профессиональная деформация: он чаще видел те поединки со смертью, которые заканчивались победой смерти. И не понимал, как можно победить с безусловной верой в победу; для него самая настоящая борьба начиналась там, где исчезала надежда, где не было сомнений в том, что это последний — смертельный — поединок.

Впрочем, смерти все равно, во что ты веришь и на что надеешься.

Отек мягких оболочек мозга — лишь один из признаков, характерных для холодовой смерти. Сам по себе он ничего не доказывает. И ни к чему уверенность, что другого диагноза не будет, — тогда его точно не будет.

Олаф сделал разрезы по задне-боковым склонам шеи, чтобы не оставлять шва спереди — опять же, не переломился. Раскрыл брюшную полость (осмотр ничего нового к диагнозу не добавил), снял с ребер мягкие ткани, отделил кожный лоскут с ключиц и шеи. Туго пришлось с рассечением реберных хрящей, особенно слева — то ли нож подвел, то ли в руках не хватило уверенности.

Как-то раз они с Ауне по осени приехали к родителям в Сампу, отец по такому случаю зарезал поросенка — он каждое лето откармливал двух поросят, для Олафа и его брата Вика, чтобы внуки зимой ели домашнюю тушенку. И правильным было помочь отцу разделать тушу, но Олаф не смог — и удивился самому себе изрядно. Мясницкий инструмент мало походил на секционный, процесс разделки туши несколько не напоминал аутопсию, но барьер оказался непреодолимым.

Отек легких — тоже не редкость при холодовой смерти, как и бронхоспазм. Свертки крови в сердце, неравномерное наполнение миокарда, спазм артерий и артериол... Все одно к одному. Ну да, и очаговый некроз эпителия слизистой желудка с кровоизлияниями — пятна Вишневого. Желудок пуст, как и положено при гипотермии.

В походных условиях всегда есть проблемы с содержимым кишечника, и может быть, не стоило возиться — вряд ли это добавило бы что-то к диагнозу. Но следователь захотел бы узнать, сколько времени прошло с последнего приема пищи. Хотя бы приблизительно. И... да, это было важно.

Без учета изменения метаболизма при переохлаждении, Эйрик ел за восемь-девять часов до смерти. По всей видимости, еще на катере, — малиновый компот на острове варить бы не стали. Впрочем, это могли быть и пирожки с вареньем, сказать трудно. Так обычно поступают во всех зимних экспедициях: ранний завтрак на судне, высадка, установка лагеря и только потом обед. Когда они прибыли на остров, световой день продолжался около четырех часов, никто не станет тратить светлое время на второй завтрак, даже если есть сухой паек. В таком случае, он умер подозрительно быстро. Ну, не больше двух часов прошло от завтрака до рассвета. Четыре часа — светлое время. Здоровому парню, чтобы умереть от холода при температуре, близкой к нулю, надо не меньше шести-восьми часов. Это если на ветру. А можно продержаться и гораздо дольше, если шевелиться.

И он шевелился, по всей видимости. Труп не заморожен, содержание мочи в мочевом пузыре — меньше стакана. Не факт, но очень вероятно, что Эйрик продолжал активно двигаться до самой потери сознания.

Олаф сделал все более чем тщательно, но потому он и не любил диагнозы исключения, что совесть после них не успокаивалась, все время казалось: что-нибудь да упустил. Однако в этом случае, по совокупности признаков, можно было смело делать заключение: между холодовой травмой и наступлением смерти есть прямая причинная связь. Никто бы не придрался к этому выводу.

Укладывая на место извлеченные органы, Олаф еще подумывал, что можно было вскрыть и позвоночник, но, во-первых, не верилось ему, что это что-нибудь изменит, а во-вторых, не ножовкой же по дереву вкупе с заточенной отверткой... Олаф никогда не испытывал особенного отвращения к запахам секционной, однако в отсутствии водопровода в замкнутом пространстве захотелось глотнуть свежего воздуха.

Нет признаков насильственного воздействия. Тело не перемещали после образования трупных пятен, а если перемещали — положили в ту же позу, в которой они формировались. Впрочем, следов волочения ни на теле, ни на одежде не наблюдалось. Только расстегнутые пуговицы на рубашке смущали. Это чушь, что замерзающие раздеваются перед смертью. Не раздеваются. Не жар они чувствуют, а тепло — когда критическая точка пройдена и организм потерял способность к терморегуляции. Ну, разве что ослабить давление воротника на горло, если не хватает воздуха.

И все равно лицо сильно меняется после вскрытия, как ни старайся спрятать следы. В юности, на похоронах бабушки, Олаф не узнал ее в гробу, и это поразило его тогда, напугало. Будто в смерти бабушка перестала быть собой. Если бы он знал, целуя ее холодный лоб, что с этим лбом делал танатолог...

— Зачем же ты расстегнул пуговицы, Эйрик? — Олаф завязал узел на воценой нити, перерезал ее ножом и посмотрел в лицо мертвеца.

Парень не ответил. Наверное, спрашивать его, как он оказался полуодетым на северном склоне, тоже было бессмысленно.

Это «шепот океана». Внезапный приступ паники, непреодолимого страха. Конечно, явление, исследованное не до конца, но имеющее вполне правдоподобное научное объяснение: инфразвук на частоте четыре-шесть герц, который порождают далекие шторма. Или не шторма — в океане могут быть и другие источники инфразвука. И если зафиксировать «шепот океана» пока не удалось, то воздействие инфразвука на мозг человека — явление неоспоримое, подтвержденное экспериментом. Далеко не всегда

такая паника заканчивалась смертью людей, особенно летом, — очевидцев, которые попали под воздействие «шепота», хватало, и все они описывали свои ощущения так, будто это был инфразвук.

Версия хорошо объясняла, почему ребята покинули лагерь, не взяв с собой теплых вещей. И то, что они уходили из времянки через пожарный выход. Олаф на себе действия инфразвука не испытывал и не мог припомнить, имеет ли значение его направление. Если имеет, то он пришел с севера и заставил бежать на юг. И если бы они поставили времянку на склоне, этого не произошло бы. И не было бы спасательного катера, не было бы рифа, и Олафу не пришлось бы искать лагерь на острове. Зачем они поставили времянку на возвышении?

Версия не объясняла разных носков на мертвеце. И единственной стельки на левой ноге — тоже. Сидя в теплой времянке, никто не станет поддевать стельку под один носок. Подденут или обе стельки, или ни одной. Если ребята только что сошли с катера, вряд ли они успели постирать и перепутать между собой носки, хотя... Кто же знает этого Эйрика и его привычки складывать одежду?

Орка запела как-то особенно громко, надрывно. Будто хотела что-то сказать. Иногда они предупреждали о Больших волнах, но метеослужба делала это точней.

Олаф уложил Эйрика обратно к опоре ветряка, свернул одежду валиком и накрыл тело спальным мешком. Принялся развязывать веревочку, которой прикрепил полу тента к растяжке, — она затянулась узлом и не поддавалась. Он не спешил.

Оказавшись на склоне, направленном к югу, спустившись всего на два метра по вертикали, они выпадали из зоны воздействия инфразвука. Или не выпадали? Олаф плохо знал физику. Ах, как механики когда-то смеялись над курсом физики для медиков! Так же как медики смеялись над их курсом химии. Вряд ли механик, лежащий под спальником, расскажет о свойствах звуковых волн...

Хорошо, даже если не два метра, пусть не два — десять метров. Но они выпадали из-под действия инфразвука почти сразу, через пять-семь минут после того, как покинули лагерь. Пусть будет не пять минут, а полчаса, это самое большее. И паника прекращается. И они понимают, что стоят на холоде в подштанниках. Есть ветряк, горит прожектор, они интенсивно двигались — что мешает им вернуться? Одеться, растопить печь? Это в воде холод убивает за полчаса — верней, еще не убивает, а вызывает потерю сознания. Только сильный мороз в сочетании с ветром приведет к тому же результату на воздухе. Или... дождь? Но в мороз дождей не бывает. На южном склоне ветер не так силен, как на северном. Мацерация стоп отсутствует, скорей всего ноги были сухими.

Эйрик шел к лагерю с северного склона. Но из времянки они выбрались в направлении юга. Впрочем, не факт, что они и дальше двигались на юг...

Узелок наконец развязался, ветер рванул полотнище из рук, сердце оборвалось — что он там увидит? И стоит ли на это смотреть?

Тени метнулись в стороны, затрепетали по краям освещенного треугольника. Олаф поймал угол бьющегося полотнища, осмотрелся и прислушался, переводя замершее вдруг дыхание. Теперь нужно ложиться спать, чтобы проснуться до рассвета и позавтракать. Но сначала свернуть тент на одну растяжку, чтобы его не снесло ветром (чтобы не узкий треугольник света ложился на землю, а широкий круг).

Орка надрывалась, и не печальной была ее песня, а тревожной и требовательной.

— Ну чего ты хочешь от меня, чего? — тихо спросил Олаф, повернувшись к океану. Собственный голос, утонувший в звоне ветра и шорохе ветряка, почему-то напугал. Будто тени со всех сторон повернулись в его сторону, на голос. Будто сразу несколько взглядов уперлось в спину. С южной стороны.

Олаф тряхнул головой и продолжил сворачивать полотнище. Не хотелось надевать куртку на несколько минут, но за эти несколько минут он изрядно продрог. До озноба. Или... взгляды из темноты напугали его до дрожи?

Это от одиночества. Человек не может один. Не должен.

— Это даже не двойка, это единица, Олаф, — сказала учительница литературы.

— Почему? — с вызовом спросил тот.

— Потому что надо было прочитать произведение, а не послушать по дороге в школу пересказ Иды.

Олаф думал соврать, что читал, но не стал унижаться.

— А если оно мне не нравится?

— Чтобы решить, нравится произведение или нет, нужно сначала его прочесть.

— А если я не хочу его читать? Если мне неинтересно?

Понятно, что спорить смысла не имело, но чем дольше Олаф препирается, тем меньше шансов получить единицу у остальных. Ну в самом деле, зачем им «Ромео и Джульетта», это не нормальный допотопный английский, а стилизация под устаревший его вариант! Никто из ребят его читать не стал, про любовь — это для девочек.

— Дружочек, иногда надо делать и то, что тебе неинтересно. Нельзя вырасти культурным человеком, не зная Шекспира.

— Может быть, я не хочу вырасти культурным человеком... — проворчал Олаф, понимая, что перегибает палку.

— Хочешь уподобиться дикому варвару? — учительница изогнула губы в снисходительной улыбке. — Довольно, Олаф. Довольно множества «хочу». Если бы люди руководствовались своими «хочу», они бы давно вымерли. Изволь к следующему уроку прочесть пьесу и не надейся отвертеться, я обязательно тебя спрошу.

— Это пьеса для девчонок... — пробормотал Олаф себе под нос.

— Ах вот как! — учительница рассмеялась. — Настоящего мужчину, по-твоему, не должна взволновать история о любви? Нет, милый дружочек, ты ошибаешься. Это настоящий маленький мальчик не способен понять человеческих страстей, а не взрослый мужчина. Литература призвана поднимать человека над самим собой, делать его взрослей. Она дает возможность обрести опыт чувства заранее. Но главное даже не в этом. «Ромео и Джульетта» — пьеса не о любви вовсе, а о победе любви над ненавистью. О том, насколько высока цена этой победы, а значит, насколько ненависть сильна.

Пространные словеса о гении Шекспира избавили остальных от вызова к доске, ради этого можно было смириться с обидным «настоящим маленьким мальчиком». Читать, конечно, сильнее не захотелось, но все же пьеса была гораздо короче, чем нудный «Обломов». Считалось, что читать на допотопном русском легче, чем на английском, — гиперборейский язык взял от русского больше, чем от финского и норвежского, — однако тяжеловесная русская классика вызывала у Олафа тоску и пессимизм. Ну почему в школе нельзя изучать «Остров сокровищ» или «Одиссею капитана Блада»? Их и на английском читать легко и интересно.

На острове Озерном, большущем по меркам Новой Земли, кроме Сампы размещалось еще четыре общины; одна из них, Узорная, была крупной: с ткацкой фабрикой, школой, библиотекой, больницей на пятнадцать коек, маяком и высокой пристанью. Фабрика стояла на берегу Чистого озера, а поселок Узорной протянулся от фабрики до берега океана. Сампа же находилась в южной части острова, между океаном и озером Рог, изгибавшимся узким полумесяцем вокруг ржаных, овсяных и картофельных полей. По другую его сторону лежал сухой сосновый бор, ягодники, за ними — мшистое болото с клюквой, а уже за болотом — луга общины Сытной, где держали коровье стадо в восемьсот голов. Ну и на востоке, на озерах, жили рыбоводы, их было совсем немного.

Домой в тот день возвращались без старшеклассников — у них было больше уроков. Это пятиклашкам не разрешали идти в Сампу одним, а Олаф и Ида считались вполне взрослыми, чтобы отвечать за маленьких. Такие дни выпадали не часто, и, признаться, Олаф гордился тем, что он старший и отвечает за остальных.

Вообще-то полагалось двигаться в обход болота, по широкой проезжей тропе вдоль леса, а потом через «большой» мост, у самого впадения Синего ручья в озеро Рог. Но, понятно, никто таких кругов никогда не делал, ходили напрямую по болоту и через ручей перебирались по бревнышку, в узком месте: получалось километров пять, не больше. Можно было и дрезину подождать, тогда до Сампы добирались бы минут двадцать, но дрезина шла из порта в пять часов, торчать в Узорной никто так долго не хотел.

С той осени в школу Узорной пошел и братишка Олафа, Вик, — в Сампе была только младшая школа, один класс на всех, в нем едва набиралось десять человек.

Ночь только начиналась — в полдень небо еще светилось на юге волшебным сине-зеленым светом, но к концу уроков становилось совершенно темно. Зимой, когда выпадал снег, дорога не казалась такой темной, но осенью иногда приходилось идти чуть ли не ощупью. Электрических фонариков в те времена не было (верней, были, но не фонарики, а фонари, и не для баловства, а для работы), и ребята брали с собой «летучую мышь», заряженную сыротопом¹. Вообще-то она мало что освещала, потому и зажигали ее редко, и не на дорогу вовсе посмотреть. В тот раз «летучую мышь» нес Олаф — как старший.

Ида дразнила его за единицу по литературе до самого болота, и если бы она не была девчонкой, он бы быстро заткнул ей рот. Нет, ударить девчонку, конечно, унизительно, позорно. Но почему они пользуются этим? За единицу по литературе и так влетит, а тут еще она...

— Оле, ну вот зачем ты отвечал, а? Сказал бы, что не знаешь, и получил бы в два раза больше — не единицу, а двойку.

— Дура! Кроме меня в классе никого нет, что ли? — вспыхнул Олаф. — Я один, что ли, не читал? Я же время оттянул!

— Ох, благородный герой! — рассмеялась Ида. — Ромео и Джульетта поженились и стали жить вместе!

— Сама так рассказала, а теперь ржешь!

Ида расхохоталась еще громче.

¹ Сыротоп (здесь) — ворвань, жидкий жир рыбы и морских животных, вытапливаемый на солнце, без варки.

— Не поженились. Обвенчались. Я сказала «обвенчались». А чем ты слушал, я не знаю.

— Какая разница: поженились, обвенчались... — проворчал Олаф. — Стали мужем и женой.

— Оле, они не могли жить вместе, в этом же основная суть. Если мы с тобой ночью тайно придем к Планете и скажем, что мы муж и жена, мне мама все равно не разрешит с тобой жить.

Малявки расхохотались (включая Вика!), кто-то сквозь смех выдавил неразборчивое «жених и невеста»...

— Чего? Вообще с ума свихнутая? Я с тобой жить и не собираюсь! Нужна ты мне!
— Олаф не нашел больше слов в свое оправдание, захлебнулся возмущением. Малявки смеяться не перестали, даже развеселились еще больше, и от обиды Олаф ускорил шаг.

— Оле, Оле, погоди! — через минуту взмолился Вик. — Я так быстро не могу!

— Пусть идет, — услышал Олаф надменный голос Иды. — Мы и без него найдем дорогу.

Он шел так быстро, что через несколько минут перестал слышать голоса за спиной. Раза два или три его кто-то звал по имени, но Олаф не остановился и не ответил. Нет, ну надо было такое ляпнуть, а? Мама ей не разрешит... И Вик — ну какой мерзавец, а? Пусть не липнет после этого!

Темнота была кромешной, но этой тропинкой через болото Олаф ходил почти каждый день уже четвертый год подряд и сбиться с пути не боялся. В лесу бывает совсем ничего не видно, можно и на дерево наткнуться, а на открытом пространстве, как бы ни было темно, на фоне неба все равно видны какие-то ориентиры. Да и глаза быстро привыкают. Когда со света сразу в темноту выходишь — хоть глаз коли, а потом ничего.

Потихоньку обида выветрилась из головы, Олаф вспомнил, что он самый старший сегодня, а значит отвечает за остальных. По правде, Ида родилась на три месяца раньше, но девочек в таких случаях никто не считал — мужчина не должен перекладывать ответственность на женщину. И Олаф сообразил вдруг, что сделал именно это: оставил Иду старшей, переложил на нее свою ответственность! В ту минуту ответственность представлялась ему привилегией, а не тяжким бременем, и получалось, что он добровольно отдал Иде право старшинства!

Он подумал и остановился. Самое трудное по дороге — перейти ручей по бревнышку, малявкам надо помогать, особенно девочкам. В глубине души Олаф подозревал, что Ида и с этим неплохо справится, — оно-то и было особенно обидно.

Стоять пришлось долго, прежде чем послышались голоса ребят; Олаф подумывал даже неожиданно выскочить на них из темноты с грозным рыком, но решил, что эта шутка ему уже не по возрасту. И просто стоял на тропинке, ждал, когда они подойдут.

— Оле, это ты? — заметив его на пути, спросила Ида.

— Я, я, — Олаф не стал ломаться и хотел уже повернуться и идти дальше, но Ида вдруг снова спросила:

— А где Вик?

— Чего? — не понял Олаф.

— Вик побежал тебя догонять, он тебя что, не догнал?

— Как... побежал догонять?.. — еле-еле выдавил Олаф. В голову стукнула кровь, в лицо бросился жар, а колени стали ватными, едва не подогнулись. Страх, стыд, чувство вины... — Почему? Зачем? Зачем ты его отпустила?

— Он меня не слушал. Ты же старший, а не я, — едко ответила Ида.

И, конечно, она была права. И, конечно, никто кроме Олафа не виноват — но можно было и не ерничать.

Они с полчаса бродили по болоту, звали Вика, но он не откликался. Зажгли «летучую мышь», темнота от этого стала только гуще, но Вик мог заметить огонек издалека — и Олаф задирает вверх руку с фонарем, чтобы его было видно как можно дальше. Малявки устали, у двух девчонок пришлось забрать сумки с учебниками.

Те часы Олаф и теперь вспоминал с содроганием — до сих пор не простил себе той глупости, которую сделал. А тогда... Тогда он был в полном отчаянье, обмирал от ужаса: а если Вик провалился в трясину? Это на тропе нечего бояться, но мало ли куда братишка мог забрести? Даже если не утонул, а просто промок и сидит сейчас где-нибудь под кустом и замерзает? Картинка, нарисованная воображением, доводила его едва не до слез: младший братишка (которого Олаф всегда недолюбливал, к которому ревновал, надоедливый, липучий зануда!) плачет в полной темноте, зовет его, Олафа, все тише и тише, одинокий, промокший, замерзший! Впрочем, представить Вика тонущим в трясине было еще страшней, но и эту картинку воображение Олафа не обошло стороной... И хотелось куда-нибудь бежать, спешить, спасти, исправить, непременно исправить сделанное — знать бы, куда бежать...

— Оле, надо возвращаться в Сампу, за помощью... — сказала Ида, тронув Олафа за плечо. — Мы сами его не найдем.

Она уже не ерничала, наоборот — жалела его, переживала.

— Возвращайся, если хочешь... — прорычал Олаф, отвернувшись.

— Оле, это я виновата... Я его не задержала, я не подумала, что ты так далеко.

— Не надо! — огрызнулся он. И добавил помягче: — Ты тут ни при чем. Я слышал, как он меня зовет, и не откликнулся. Понимаешь? Если бы я откликнулся, он бы меня догнал!

— Если бы я тебя не дразнила, если бы не сказала эту ерунду... — Ида разревелась вдруг так горько, что больше не могла выговорить ни слова.

Если! Если бы он прочитал эту чертову пьесу, если бы не получил единицу, если бы не обиделся на Иду (и Вика)... Как много «если»...

— Перестань реветь, — проворчал Олаф. Вот потому женщину нельзя назначить старшей: в ответственный момент она разревется — будто слезами можно решить проблему. — Возвращайтесь в Сампу. Ты сможешь перевести малышню через ручей?

Ида закивала, попыталась вытереть слезы, шмыгнула носом.

— А дорогу найдешь?

Она закивала с удвоенной силой.

— Я фонарь себе оставляю, вдруг... — он пожал плечами.

— Может, тебе лучше с нами? — Ида спросила робко, заискивающе.

Он ничего не ответил — не мог он вернуться в Сампу, не мог! Ну как? Как посмотреть маме в глаза, отцу? И потом, когда еще помощь соберется: а если не успеют?

Сколько раз им говорили не ходить через болото! Сколько раз повторяли, что держаться нужно вместе! Сколько раз предлагали делать уроки в школе и ехать домой на дрезине! Не слушали, конечно не слушали! Потому что до поры все было хорошо, ничего не случилось! Как говорил Матти: «Пока не прилетит жареная птица».

Оставшись один, Олаф начал поиски с удвоенной силой — теперь не требовалось присматривать за остальными, сумки у него забрали (включая его собственную), и появилась возможность менять руку, задирая вверх «летучую мышь». Он звал Вика не переставая, иногда ставил фонарь на мох, чтобы сложить ладони рупором, но неизменно поднимал «летучую мышь» повыше, не зная, что расходится дальше — звук или свет.

По его предположениям, помощь должна была появиться не позже чем через час, но сколько прошло времени, Олаф не представлял. А может, забрался так далеко на восток, что не слышал криков и не видел света фонарей? Всерьез заблудиться на острове нельзя, скорее рано, чем поздно выйдешь к океану, но некоторым удавалось, да... В основном, конечно, малышам.

Там, куда поиски привели Олафа, стоял редкий заболоченный лес; иногда он видел в темноте открытую озерную воду, но вплотную подойти к берегу не мог — однажды

только напрасно промочил ноги. В лесу, хоть и редком, голос расходился не так далеко, а света «летучей мыши» можно было и в трех шагах не заметить.

Мысли с каждой минутой становились все мрачней, пошел мелкий ледяной ноябрьский дождь, не сразу, но промочил фуфайку и штаны, замерзли руки. Тогда Олаф думал со злостью, что так ему и надо, пусть будет холодно, мокро, пусть он устанет, простынет и тяжело заболит, пусть упадет и что-нибудь сломает — может быть, от этого будет хоть немножко легче, может, в этом найдется какое-то оправдание... Лучше всего утонуть где-нибудь на подходе к озеру или провалиться в болотную трясику. И лишь мысль о том, что Вик тоже мокнет и мерзнет сейчас под дождем, не позволяла ему осуществить это глупое пожелание.

Олаф совсем потерял счет времени, руки отваливались — не осталось сил поднимать фонарь, — и он с отчаяньем думал, что если Вик утонул, то искать его придется всю жизнь... Он не представлял, где находится, и если раньше был уверен, что методично прочесывает островок, то теперь просто шатался туда-сюда в темноте. И кричать громко не получалось — он охрип; и, конечно, все равно звал Вика, но от этого до боли першило в горле, а звук выходил сиплым и тихим.

Он ни разу не подумал о том, что Вика давно нашли без него. Видел, как за горизонтом иногда освещается небо: значит, поиски еще не прекратились, значит, пускают сигнальные ракеты. Это не придавало сил, наоборот — только сильнее мучила совесть: это его вина, он сам должен найти Вика, сам!

Олаф надеялся услышать ответ на свои крики и представлял, как отыщет братишку где-нибудь под кустом и как они вместе вернутся в Сампу. Он даже разработал план возвращения самым коротким путем... И иногда ревел (никто ведь не видел), когда понимал, что этим планам не суждено сбыться, если Вик утонул.

Заболоченный лес сменился сухим и густым, а вскоре Олаф вышел на опушку. Долго соображал, где находится — на лугах Сытной или на полях Сампы, но так и не понял.

Он издали заметил свет фонарей, а потом услышал и крики, однако, к удивлению Олафа, люди с фонарями звали не Вика, а его самого. И он откликнулся как мог громко — громко не получилось. И идти в их сторону быстро тоже не получалось, он спотыкался и едва не падал с ног. Постарался поднять «летучую мышь» повыше и чуть не выронил ее совсем.

Но его заметили, осветили большими электрическими фонарями, побежали навстречу... Это были мужчины из Сытной (потому он и решил сначала, что до Сампы

далеко), кто-то выпустил зеленую ракету из ракетницы — отбой тревоги, — ощупывали его, спрашивали о самочувствии, предлагали помочь идти, дали глоток спирта из фляжки и горячего чая из термоса. Было пять часов утра...

Вдали мелькнула еще одна зеленая ракета — отбой тревоги передавали по цепочке. Олаф боялся спросить про Вика, но догадался: если отбой, значит, Вика уже не ищут. Почему? Олаф и в детстве считался пессимистом (но называл себя скептиком).

Его нашли на границе земель Сампы и Сытной, а потому повели домой, в Сампу, — пришлось идти еще минут сорок, и продержался Олаф только из гордости. По дороге ему рассказали, какой переполох он поднял. Вик добрался до дома незадолго до возвращения Иды с ребятами — поплутал немного по болоту, но увидел издали огни Сампы и довольно быстро вышел к Синему ручью. Олафа сначала ждали, потом искали своими силами, потом по радиации передали тревогу в Сытную и Узорную. Пускали ракеты — по ним Олаф мог определить правильное направление движения.

Гора должна была свалиться с плеч — и она свалилась, Олаф редко бывал так счастлив, как в ту минуту: Вик жив, с ним все хорошо, он не утонул, не замерз и, наверное, даже не простудился. Конечно, Олаф виноват, но совсем не так виноват. Конечно, так делать нельзя, но... искать Вика всю жизнь точно не придется. И обиды не было, только радость. А вот идти стало гораздо тяжелей, холод дал о себе знать, усталость навалилась — последний километр Олаф прошел еле-еле, шатаясь и спотыкаясь.

В Сампе никто не спал, и в клубе, и перед клубом горел свет, туда потихоньку подтягивались мужчины, которые искали Олафа на болоте, — в блестящих от воды плащах, с тяжелыми электрическими фонарями... Он заметил лицо мамы в освещенном окне клуба — и оно тут же исчезло, упала занавеска: должно быть, мама побежала его встречать. Вообще-то никто не сердился: Олафа раза три хлопнули по плечу, пока он подходил к клубу, и шутили, и улыбались — радовались.

Но первым навстречу Олафу из клуба вышел Матти. Он вовсе не радовался (потом Олаф понял, что радовался, конечно, просто не считал нужным это показать), лицо его было злым и презрительным. Олаф краем глаза увидел отца, тоже в мокром плаще, но без фонаря, с откинутым капюшоном, — тот бежал к клубу и улыбался.

— Скажи мне, каким местом ты думал? — спросил Матти, не повышая голоса. — Какого черта три общины всю ночь ползали по болоту под дождем? Ради чего твоя мать чуть не лишилась рассудка, а?

Наверное, стоило помолчать. Но то чувство вины, которое водило Олафа по болоту всю ночь, не могло сравниться с этим, маленьким, чувством вины — за то, что его искали. За то, что за него волновались. Он ведь не винил Вика в том, что тот потерялся.

— А зачем меня искали? Я бы и сам дорогу нашел, — ответил Олаф, с вызовом глянув Матти в лицо.

Матти его ударил. Не сильно, открытой ладонью по щеке, больше унижительно, чем больно, — но Олаф и без этого еле стоял, а потому не удержался, слетел с ног и плюхнулся в глубокую грязную лужу. Да еще и не сразу смог подняться.

Дальнейшего он от отца не ожидал. Отец считался человеком мирным, даже чересчур, старался избегать конфликтов, в ссорах всегда первым искал примирения и вообще слыл миротворцем. А тут... Он и не сказал ничего, просто подбежал и врезал Матти кулаком в подбородок, а кулак у отца был еще тот, да и силищей он обладал невероятной — Матти отлетел шагов на пять и навзничь повалился на землю. И тоже не сразу смог встать.

Олаф думал, они подерутся, что Матти этого так не оставит. Он всегда недолюбливал отца, всегда отзывался о нем с презрением, давал едкие советы, как надо растить сыновей... Но Матти поднялся — легко, одним движением, хотя был далеко не молод, — потрогал челюсть, смерил отца взглядом и сказал:

— Пусть так. Будем считать, что и ты, и я поступили по справедливости.

По дороге к дому мама со слезами беспорядочно целовала Олафа в лицо, мяла в кулаке его волосы, прижимала голову к себе. Отец был мрачен, но на Олафа не сердился нисколько — переживал, наверное, из-за Матти.

А дома, когда Олаф наконец-то улегся в теплую постель (Вик даже не проснулся!), отец пришел к ним в спальню, присел на краешек кровати.

— Тебе, конечно, не стоило уходить от ребят, потому что ты был старшим. И, конечно, тебе надо было пойти в Сампу за помощью, вместе со всеми. Потому что глупо действовать в одиночку: даже если ты виноват, в этом нет никакого толку. Ведь смысл был не в том, чтобы успокоить совесть, а в том, чтобы найти Вика, верно?

Олаф кивнул — говорить он совсем не мог, голос сел окончательно.

— Но я все равно тебя понимаю. И... Не знаю, но мне кажется, ты молодец. Может быть, и глупо вышло, но ты поступил как мужчина, как старший. Только в следующий раз... в общем, верь людям, не бойся опираться на людей. Никто ведь не переломился, когда тебя искал. Это нормально, понимаешь? Когда люди все вместе, когда помогают друг другу в беде.

«Не переломился» — это было одно из любимых словечек отца...

— Пап, — прохрипел Олаф, — но зачем? Зачем? Я бы сам вышел, я не терялся!

— Вик тоже не терялся. Но ты же его искал, правда? — усмехнулся отец. — Спи.

Олаф проболел после этого больше двух недель, успел прочитать «Ромео и Джульетту», но нисколько не впечатлился — скучная оказалась пьеса, как и ожидалось. Вик лип к нему еще больше и еще сильнее надоедал. Пожалуй, Олаф вынес из этой истории только одно: быть старшим — не привилегия, а ответственность. И как бы он ни ненавидел Матти, как бы ни хотел обвинить его хоть в чем-нибудь, но именно тогда задумался о том, что Матти — всегда старший, всегда ответственный. Наверное, это тяжело — всегда за всех отвечать.

Собранные вокруг печки камни еще не остыли, но Олаф все равно развел огонь — чтобы тепла хватило до утра. И на этот раз собирался закрыть выюшку, чтобы тепло не вытянуло наружу слишком быстро.

Он сложил тщательно записанный протокол вскрытия в папку и взялся за журнал экспедиции, забравшись под полог из спальников — чтобы было теплее.

Похоже, столь серьезный в понимании ОБЖ документ инструктор отдал на откуп студентам, сделав там только самую первую запись: «Высадились на остров благополучно. До рассвета доставили снаряжение на место стоянки, установили ветрогенератор». Далее журнал «заполнялся» правильным и аккуратным девичьим почерком. Олаф посмотрел в конец записей: точно, «По поручению вышестоящей инстанции — Сигни (Бруэддер)». «Коррективы внес Саша (Бруэддер)» — это было приписано другим, небрежным, почерком на полях. Олаф видел множество подобных журналов, все они из серьезных документов превращались в несерьезные — даже вполне солидные люди на этих страницах упражнялись в остроумии, чего же требовать от студентов?

Впрочем, записи смешными ему не показались.

«Неожиданная смена погоды на закате не напугала колонистов — ни снег, ни ветер не могут соперничать с их силой духа, мощным аккумулятором ВЭГ и водонепроницаемой крышей».

Вот как. Значит, пошел снег и они укрылись во времянке, не закончив обустройство лагеря.

«Правильное питание — залог успешной экспедиции, так считает главный повар (зачеркнуто) главная повариха (вставлено сверху корявым почерком) колонии Гагачьего острова, Лиза (Парусная)». «Решение разбить лагерь на продуваемой всеми ветрами высоте принято вышестоящей инстанцией и не должно учитываться при подсчете суммы баллов, набранной колонистами, — прямо заявил староста колонии Эйрик (Инжеборг). Вышестоящая инстанция ничего на это не ответила».

Какая вышестоящая инстанция? Кто, кроме студентов и инструктора, мог выбрать место для размещения времянки? Или его искали заранее, по картам? По картам такого лучше не делать. До Олафа не сразу дошло, что вышестоящая инстанция — это инструктор.

«Лекцию о борьбе с морской болезнью, запланированную на день выхода катера в море, сегодня прочтет Лори (Маяк). Досадная задержка обусловлена тяжелым приступом морской болезни у лектора». «Обзорную экскурсию по острову совершили сегодня два отчаянных колониста. Результаты: минус 15 баллов в общую сумму зачета, упавшая растяжка и уровень потолка ниже допустимой ОБЖ нормы. Имена экскурсантов в целях их безопасности не публикуются». «Громкую дискуссию вызвал вопрос о критериях обитаемости островов вообще и Гагачьего в частности. Можно ли считать обитаемым остров, на котором размещено оборудование метеослужб или какие-либо другие следы жизнедеятельности человека?»

Олаф не знал, что тут размещено оборудование метеослужбы. И не мог предположить, какое оборудование метеоточек работает автономно.

Надежда — опасная, как всегда, надежда — вспыхнула, прогнала сонливость. Если на острове есть метеоточка, то ребята могли укрыться там, у метеорологов, и не в надувной времянке, а в крепком отапливаемом домике.

Надежда угасла так же быстро, как и появилась: если бы на острове была метеоточка, не пришлось бы посылать спасательный катер, уж у кого, у кого, а у метеослужбы есть рация, и не одна, а также основная и аварийная системы электроснабжения. Ветряк на стационарной мачте был бы виден еще с катера.

Может, метеоточка прекратила работу? Ветряк демонтировали, но домик могли и оставить. Проклятая надежда опять зашевелилась внутри. Надо обойти остров по периметру (лишь бы не спускаться по южному склону?), посмотреть, что ребята приняли за оборудование метеослужбы.

«Последняя новость сегодняшнего дня: на Гагачьем острове не обнаружено ни одной гаги, хотя вокруг присутствуют следы утиной жизнедеятельности. Желание некоторых колонистов погладить утеночка так и не будет осуществлено».

Олаф вернул журнал в папку и откинул полог шатра, чтобы положить ее на место.

На торец времянки четко ложилась тень человеческой фигуры. Женской фигуры. Девичьей. Олаф остолбенел и несколько секунд не двигался. Ветер дернул створки тамбура, тень шевельнулась, переместилась в сторону южного склона — с океана долетел еле слышный плач орки, будто его принес порыв ветра. Тень уходила в темноту — Олаф видел, как она повернулась в профиль и двинулась прочь. И... Может, это была не девичья фигура — бросилась в глаза впалая грудь.

Погладить утеночка? Так и не будет осуществлено. Никогда.

Он вернулся под полог, раскопал в изголовье флягу со спиртом, налил в кружку граммов пятьдесят и выпил не разбавляя. Это от одиночества. Человек не может один.

Ему снились (снились!) шаги вокруг времянки. Негромкие голоса. Тихие, сдержанные слезы — только всхлипы и придыхание. Во сне ему казалось, что он не может уснуть. И только под конец, ближе к утру, сон перестал быть кошмаром — Олаф увидел сказочный город на дне океана, просвеченный солнцем серебряный город, невиданной и неслыханной красоты. Да, он стоял под водой, но над ним простиралось небо, не бирюзовое, а допотопное, голубое. И солнечный свет был почти белым, а не оранжевым. Читая книги, Олаф иначе представлял себе допотопный мир.

Но и это видение закончилось безрадостно: приблизившись, он увидел, что город населяют не люди, а злобные уродливые цверги, которыми бабушка пугала его в детстве.

Олаф проснулся разбитым, с болью не только в мышцах, но и в голове, с неясным, но тягостным чувством вины и в черном пессимизме. Завтрак немного поднял настроение, и из времянки Олаф выбрался незадолго до рассвета. Зевнул, потянулся, выпрямляясь, — и согнулся, охнул от боли в спине. Лечиться от глупости бесполезно — не надо было вечером поднимать тело на вытянутых руках.

Он погасил прожектора — на юго-востоке небо было светлым и ясным. Морозец стал крепче, даже наверху ветер немного поутих, установился антициклон. Надолго ли? Гиперборейская погода переменчива.

Южный склон в сумерках казался совершенно белым — иней покрывал и кустарничек, и мох, и разбросанные по земле большие округлые камни. Олаф посмотрел назад — северный склон тонул в ночной тени, а над океаном поднимался легкий парок.

Обойти остров по периметру можно часа за два. Если не торопиться. Но... Сегодня он пойдет вниз по южному склону, что бы там ни предписывали инструкции и о чем бы ни шептала опасная, злая надежда. На острове нет живых, и не надо себя обманывать. Живые давно дали бы о себе знать. А пока знать о себе дают только мертвые. Нет, Олаф не был сумасшедшим и не верил в сказки, даже в страшные сказки. Мертвые не могут ходить и говорить. Но... иногда живые ловят слабые импульсы, исходящие от мертвых, а страх перед смертью превращает эти импульсы в мороки. Вот как-то так...

Почему они не вернулись в лагерь? Может, он напрасно грешит на «шепот океана»? Может, произошло что-то другое? Но что?

Война с варварами закончилась, когда Олафу было двенадцать лет, о чем он и его ровесники весьма тогда сожалели. И, конечно, нападение варваров на остров не исключалось, до Гренландского архипелага хоть и далеко, однако бешеной собаке десять верст не крюк. Но, во-первых, варвары давно оставили попытки нарушения границ, а во-вторых, и в-главных, тогда от лагеря не осталось бы ничего, кроме разве что пемзовых плит под времянку. Скорей всего, забрали бы и их. Не говоря про спирт, консервы, одежду. Они бы и мертвых тел не оставили.

Олаф слышал, что варвары кормят беременных мясом умерших младенцев, хотя и сомневался, что такое возможно. Но свидетельств каннибализма варваров имелось достаточно, и дело не в их первобытной дикости и не в чудовищности их многочисленных культов, а исключительно в стремлении выжить. Некоторые (в том числе ученые) считали, что это генетически закрепленная потребность, что варвары выжили после потопа благодаря мифическому гену агрессивности, желанию пожирать себе подобных в прямом и переносном смысле. Олаф имел на этот счет свое мнение: просто агрессия как способ выживания закрепились культурно, а не генетически. Ведь дети варваров, выросшие среди гипербореев, ничем от гипербореев не отличаются. А желание гиперборейских мальчишек хоть немного повоевать разве не проявление агрессии?

Светало потихоньку. Океан качало мертвой зыбью, тяжелые пологие волны притормаживали, натолкнувшись на берег, поднимались над ним неспешно, сонно, а потом с грохотом падали на камни — будто от усталости. Олаф еще раз оглядел лагерь в надежде найти хоть какой-то след, объяснявший произошедшее.

Итак, пошел снег. Студенты укрылись во времянке, но огонь не развели, хотя все подготовили — только спичку поднести. Дрова сэкономили? Вполне возможно. Но если не развели огонь, то почему разделись? Логично было бы снять куртки и, разумеется, сапоги. Заменить куртки телогрейками и свитерами. Но не до кальсон же раздеваться... Тем более

при девушках. Во времянке только ветер не дует, а температура такая же, как снаружи, около нуля. Не пять минут сидели — журнал успели заполнить. И начали заполнять уже во времянке, никак не раньше, — ведь первая новость была о том, что пошел снег. Пусть бы и мокрый снег, промочивший одежду, — чтобы ее просушить, нужно разжечь огонь. Да и телогрейки в этом случае остались бы сухими. Зачем они разделись? Может, пока одни заполняли журнал, другие «заряжали» печку? А что, вполне вероятно. Просто не успели разжечь. Рассуждения пошли по кругу: а почему не надели телогрейки и свитера?

Олаф решил, что вечером проведет инвентаризацию одежды и обуви.

След. Отпечаток сапога на спальнике. В постель в сапогах не залезают, да и во времянке обычно не ходят — пол здесь подмести нетрудно, а вымыть довольно тяжело. Сапоги снимают у входа и не валят на них телогрейки и свитера. А если ребята сидели разутыми, когда услышали «шепот океана», то кто оставил след? Впрочем, кто-то мог быть и в сапогах... Ох. Лучше бы об этом думал следователь.

Солнце еще не вылезло из-за скал юго-востока, но света было достаточно, и Олаф направился по склону вниз, намереваясь спуститься до березняка кратчайшим путем.

В допотопных книгах ему встречалось выражение «в панике разбежались», и как-то в детстве он даже переспросил отца: почему «разбежались», а не собрались вместе? Ведь в случае опасности люди должны держаться вместе! Это потом, уже в институте, он узнал, насколько по-разному ведут себя люди в аффективных состояниях и какие биологические механизмы этим управляют. И все же в большинстве несчастных случаев, в расследовании которых он принимал участие, в том числе и случаев внезапной паники, люди старались держаться друг друга или, по крайней мере, выбирали одно направление движения. Возможно, это была особенность гипербореев, а не людей вообще, — поведенческий стереотип, присущий именно их культуре.

И Олаф предполагал, что данный случай не исключение: студенты покинули лагерь вместе и выбрали одно направление движения. Двигаться на дно «чаши» логично со всех сторон, и хоть «шепот океана» не располагает к логике в действиях, но и к бессмысленным метаниям тоже приводит редко. И, выбравшись из времянки на южную сторону, странно было бы бежать на север...

Пройдя не более сотни шагов, он нашел подтверждение своим догадкам — этой дорогой кто-то спускался до него. На камнях трудно оставить следы, но все же кое-где мох был содран с камней, будто кто-то оскользнулся на спуске. Впрочем, подобных следов нашлось не много, и судить по ним о произошедшем Олаф не стал.

Почему они не вернулись? На этом месте склон надежно защищает от любых волн, идущих с севера. Или не защищает? Ведь звук может отражаться, например, от скал южного берега... О резонансе Олаф тоже имел смутное представление, но подумалось вдруг, что «чаша» могла стать для них смертельной ловушкой: инфразвук небольшой интенсивности вызывает панику, но если его усилить — убивает.

Обычно медэксперт не ищет покойников, будто грибы в лесу; и хотя Олаф не раз и не два бывал в спасательных экспедициях, это всегда выглядело как-то иначе. На северном склоне ветер с океана разгонял туман, вчера там не было так бело, как тут сегодня. Солнце не вылезало из-за скал — чем выше оно поднималось, тем ниже Олаф спускался. Похоже, на дно «чаши» оно не заглядывало с осени. Еще одна причина поставить временку на возвышении: чем выше, тем длиннее световой день, об этом Олаф не подумал сразу.

Заиндевший мох хрустел под ногами, ломался хрупкий на морозе кустарничек — белый, белый склон, любой чужеродный предмет на нем будет виден отчетливо... Олаф снова осекся: не повернуть ли назад, не посмотреть ли получше? Ведь чужеродный предмет тоже должен быть покрыт инеем...

Мысль обдала холодом, кольнула острой щенячьей тоской. Он оглянулся назад, всматриваясь в склон, и увидел тело почти сразу, в двадцати шагах. Прошел мимо и не заметил...

Мертвые не могут говорить. И странно вовсе не то, что Олаф вдруг решил оглянуться, а то, что раньше не подумал искать заиндевшие тела. Впрочем, сверху тело было видно не так хорошо: его прикрывали три основательных камушка — будто человек прятался за ними.

Первое, что бросилось в глаза при приближении, — длинные локоны, выбившиеся из-под шапочки. В инее.

Она лежала лицом вниз, головой в сторону лагеря. Правая рука вытянута вперед, левая нога согнута в колене. Будто девочка ползла вверх. Вязаная шапочка, теплые брюки с начесом, штанины подвернуты; толстый свитер, явно с чужого плеча, левый рукав натянут на кисть, правая рука с отмороженными пальцами голая. Под ней — сломанный фонарик, вместо корпуса батарейки туго обмотаны тряпкой — куском штанины от теплых брюк.

Олаф зарисовал положение тела и отметил вешками место, где оно лежало. Помедлил, прежде чем его перевернуть. Обычно смерть безобразна; безупречно чистые, слепяще-белые кристаллы инея оскверняли безобразие смерти, нарушали зловещую ее

гармонию. Он довольно точно представлял себе, во что смерть превратила лицо девочки, и не спешил в него взглянуть.

Ребята отдали ей самые теплые вещи. Не помогло.

На земле четко обозначилась характерная наледь, обледеневшими снизу были и свитер, и брюки: под теплым еще телом лежал лед, он растаял, потом снова замерз. Лиза. Без сомнений. Олаф был слишком оптимистом, представляя себе ее лицо, — не учел морозную эритему, окрасившую кожу в багровый цвет.

Нос-пуговка, ссадина на кончике.

Олаф не посмел закинуть тело на плечо. Что еще мужчина может сделать для мертвой девочки? Она не казалась ему тяжелой, только каждый шаг давался с трудом. Как большая сломанная кукла — заочневшее в неестественной позе тело, белые от инея локоны... Руки быстро занемели, и он прижал ее к себе тесней — ледяную. Остановливался несколько раз, чтобы передохнуть, переложив тяжесть на колено. И шел дальше — выше, к освещенной низким солнцем вершине склона, — шатаясь и спотыкаясь.

Второй спуск к лесу ничего не дал, сколько Олаф ни всматривался в голубые тени на заиндевевшем склоне.

Внизу, в сумеречном полусвете, стояла странная неживая тишина, а земля волнами источала холод — и Олаф сперва решил, что это игра воображения. Солнце если и заглядывало на дно «чаши», то только ближе к лету; сюда не долетал ни ветер с океана, ни грохот прибоя; извивались — будто корчились в судорогах — невысокие березы, цеплялись за камни кульями корней, и чернел местами непролазный еловый подлесок.

Нет, не игра воображения — под тонюсеньким слоем каменистой почвы лежала мерзлота: ветра, растопившие Ледовитый океан, не добрались до дна чаши. И теперь абсолютно ясно, почему здесь не поставили лагерь.

Ели со сломанными ветками не бросались в глаза, просто показались немного странными издали. Но, подойдя вплотную, Олаф убедился: ветки сломаны, а не срезаны и не срублены. Много веток. Елочки приземистые, нахохлившиеся, лапник густой, колючий. Он попробовал сломать сучок — уколол пальцы, но обломилась ветка легко, была хрупкой, суховатой. Это хорошо, это значит, не так трудно заготовить дрова, сделать настил, сложить шалаш... Олаф поперхнулся. «Больной перед смертью потел? Это хорошо»...

Он направился по следу из обломившихся по дороге веточек и осыпавшихся иголок и в самом деле вскоре вышел к шалашу. Ну, не совсем шалашу — скорей, это была лёжка, спрятанная в глубине ельничка. Если бы не следы, Олаф бы ее ни за что не отыскал. И сделали ее грамотно — каменный очаг посередине, вовсе не маленький, с отверстием для поддува воздуха, экраны из лапника с трех сторон, чтобы не сразу уходило тепло, толстый слой лапника на земле. Можно ночевать, не опасаясь замерзнуть: даже если погаснет огонь, камни сохранят тепло на некоторое время. Если, конечно, не будет дождя или сильного снегопада. Да они могли жить здесь несколько суток, даже в стужу, даже на мерзлоте! Почему они покинули и это место тоже?

Хворост в очаге прогорел не до конца, по краям топорщились березовые ветки, в центре лежали угольки. На камне стоял огарок стеариновой свечи, обрезанный снизу, — в сырую погоду без свечки трудно разжечь очаг. Просохшая береста горкой, наломанные сучья, довольно тонкие, — не толще, чем можно сломать о колено. У отверстия для поддува лежали простейшие, сделанные из подручного материала «мехи»; Олаф не сразу догадался, что их трубка — это корпус фонарика. Да, здесь нет такого ветра, чтобы раздувал огонь, без работы мехов очаг, по-видимому, быстро гас. И значит, кто-то один должен был следить за огнем, когда остальные уходили за дровами.

Что-то хрустнуло под сапогом, совсем не так, как хрустит ветка, и Олаф посмотрел под ноги. Карандаш. Провалился в лапник. Выпал у кого-то из кармана? Или использовался как растопка? Олаф поднял обломки — нет, как растопка карандаш не использовался. Конечно, хотелось бы найти записку, которая разъясняла произошедшее, но ничего кроме бересты Олаф не увидел. Надписей на бересте не было тоже.

Он скользнул взглядом по очагу случайно, вовсе не надеясь в нем что-то найти, но увидел вдруг обугленный клочок бумаги. И не было ничего странного в том, что бумагу использовали для растопки, хотя нет для растопки лучшего материала, чем береста. И свечка. Сырые дрова бумагой не подожжешь, она сгорает вмиг. Олаф осторожно взял клочок бумаги двумя пальцами — нет, никаких обрывков слов, вообще ни следа записи... Но и ширина сохранившегося клочка была не больше полутора сантиметров, даже если на листке что-то писали, то не на самом краю.

И карандаш, и обугленную бумагу Олаф убрал в карман — как вещдок. Может, написали записку и передумали оставлять? Глупо. Скорей, конечно, просто разжигали огонь.

Он огляделся в последний раз, ничего интересного больше не заметил и выбрался из ельника, прикрывшего лежку. Сумерки почему-то показались еще гуще, хотя солнце

едва перевалило за полдень. Тишина. Безветрие. Холод. Серенький полусвет. То ли бежать с этого места, то ли свернуться на мерзлой земле в клубок и выть волком. Человек не может быть один! Не должен! Не умеет! Олаф прикрыл глаза и стиснул кулаки, переждал накативший страх одиночества.

Где-то сбоку, шагах в десяти, щелкнула ветка, почудилось движение — он резко повернул голову на звук, но, понятно, ничего не увидел.

Теперь следовало идти вокруг шалаша по спирали, постепенно расширяя круг. Заглядывать под каждую елочку, раскинувшую ветки по камням. Олаф двинулся вперед, но не успел сделать и пяти шагов, как за спиной снова щелкнула ветка. Будто кто-то тронулся с места вслед за ним. Он знал, что ничего не увидит, оглянувшись. Или... или не хотел этого видеть. Плечи сами собой распрямились, натянулись мышцы на спине — до дрожи от напряжения, будто по нервам пустили ток. Впрочем, ничего удивительного, спина болела еще утром, а после подъема в лагерь с телом девочки на руках и должна была дрожать от малейшего усилия.

Олаф сделал еще несколько шагов, ощущая движение за спиной — и взгляд в спину, тоскливый, щенячий, умоляющий... Это от одиночества. Человек не должен быть один.

Им не только холодно — им одиноко. Олаф развернулся и пошел в противоположную сторону.

Парень лежал на спине, повернув голову влево. Словно в самом деле только что смотрел Олафу вслед. Саша. Девятнадцать лет.

Лицо и шея опухшие, рот приоткрыт, кончик языка между зубов. На веках точечные кровоизлияния. Руки подняты к горлу, правая кисть на уровне кадыка, левая — чуть ниже. Удушье? Ноги прямые в коленях, поставлены на ширину плеч. Таллофитовая майка-безрукавка, трусы трикотажные синие, полотняная нательная рубаша с обрезанными рукавами, трикотажные кальсоны с обрезанными штанинами.

Значит, умер раньше других: понятно, что раздевали труп. Каждая тряпочка на счету. Сначала заботиться о живых — потом думать о мертвых. Даже если живые вскоре сами станут мертвыми...

Чтобы сделать волокушу, надо было взять с собой хотя бы топор. Парень был одного роста с Эйриком, но потоньше, полегче.

Олаф записал протокол осмотра, зарисовал положение тела и поставил вокруг него вешки. Только потом перевернул: эритема на левой стороне лица, на тыльных сторонах ладоней — до запястий. Замерз? Нет, не похоже. Будто сидел близко к огню левой

стороной, не замечая жжения. Если бы не раздражение кожи на руках, Олаф мог бы предположить пощечину... В средней трети правого плеча, на внутренней поверхности — разлитой кровоподтек. Аналогично — на передней поверхности правого предплечья, с незначительным осаднением кожи. Удариться внутренней стороной плеча — дело трудное, хотя и возможное, но почему-то Олаф подумал о болевом приеме на руку...

Следующая мысль ему не понравилась, показалась нехорошей, нечестной: подрались из-за теплой одежды? Следовательно не стал бы ее отбрасывать, не имел права ее отбросить. Но со смертельным исходом? Один неловкий удар в кадык... Или, того хуже, — задушили парня, чтобы забрать одежду? Олаф посмотрел на распухшую шею внимательней, но не заметил следов сдавления руками; пощупал, не сломана ли подъязычная кость, — скорей всего нет, но трупное окоченение не позволяло сказать точно. Впрочем, есть много других способов задушить человека...

Да, бывает — редко, но все же бывает, — когда экстремальные условия влияют на рассудок. Физиологически. Отключается эмпатия, нарушаются представления об этике. И не от страха за свою жизнь вовсе, иногда чуть не на ровном месте. Люди, которые испытали это на себе, часто ломаются, бывает кончают с собой — и говорят о затмении, о помешательстве.

Конечно, медэксперт не должен делать выводы, но следователя нет; эту версию придется держать в голове, хотя она и кажется нелогичной. И... оскорбительной. Мертвые не любят, когда их оскорбляют, даже невольно.

— Извини, парень, — усмехнулся Олаф. — Но ты ведь не расскажешь, что было на самом деле.

Двояковыпуклая линза блеснула в глубине заиндевевшего куста водяники, почти под головой мертвеца. Оборванная нить — а порвать такую непросто... Олаф еще раз взглянул на шею: да, нитка прорезала кожу, но сзади, не спереди. Если бы его душили, то, наверное, тянули за нитку с другой стороны. Скорей всего, парень порвал ее сам, в бесплодной попытке спастись от удушья. Да, на обеих ладонях остались еле заметные следы — порвал сам.

Делать волокушу было лень. Не хотелось подниматься вверх за топором, не хотелось обдирать руки, ломая колкие еловые лапы. И разбирать шалаш не стоило — рано или поздно на него посмотрит следователь и, возможно, увидит то, что ускользнуло от Олафа. В конце концов, парень был полегче Эйрика...

Одеревеневшее тело легло на плечо неловко, неудобно.

На полпути к лагерю Олаф пожалел, что не стал делать волокушу: не двести шагов — около полутора километров . Не круто , но все же вверх . Останавливался, переводил дыхание, менял плечо . Перестал ощущать ледяной холод , исходивший от тела . Перестал думать о том, что́ несет.

Да, Олаф был скептиком. Может быть, даже пессимистом, потому что сначала предполагал самое плохое. И только в десяти шагах от лагеря ему пришло в голову, что синяк на руке мог появиться, если парень падал, а его кто-то поддержал. И ударить по щеке могли, чтобы привести в чувство, разогнать сонливость.

Рука мертвеца медленно разогнулась и коснулась лопатки. Понятно, что отходило трупное окоченение, но ощущение все равно было не из приятных — будто мертвец одобрительно похлопал Олафа по спине. И... не должно тело оттаивать так быстро, и окоченение не должно так быстро отойти.

У мачты ветряка, опустившись на одно колено и сложив ношу с плеча, Олаф не смог подняться. Конечно, устал. Конечно, по собственной глупости и от лени. Но... ноги одеревенели, руки не разгибались — как у окоченевшего трупа. Словно силы и тепло ушли в мертвое тело, вдруг отогревшееся.

Они всегда забирают что-то у живых. Или живые отдают им это сами — трудно сказать. Или внушают себе, что отдают... Над океаном разнесся пронзительный и долгий крик орки, смолк, но остался звоном в ушах. Низкое холодное солнце повисло над обледеневшими скалами, Олаф оглянулся на него с тоской. Человек не должен быть один... И дело не в том, что никто не протянет руку, не поможет подняться...

Голова немного кружилась, и вспомнились вдруг качели в Сампе, высокие, тяжелые, вырезанные глубокой лодкой, с жесткими стальными стержнями вместо веревок. Сидеть внутри, держась за стержни, не так страшно, а стоять на краю, на бортах и раскачиваться — дух захватывает. Олаф зацепился за воспоминание, постарался удержать в голове, будто оно могло вернуть вынутую мертвецом силу...

В то лето он не ограничился прыжком с Синего утеса — он совершал глупость за глупостью. Отец со смехом назвал это томленьем духа, а Матти сказал, что Олаф совсем одурел от любви, в то время как Олаф еще и самому себе не признался в том, что влюблен, и формулировка «томленье духа» нравилась ему гораздо больше.

На качелях девчонки визжали и просили остановиться — может, это традиция у них была такая? Игра? Сколько Олаф себя помнил, они всегда с радостью запрыгивали в лодку, а потом орали и возмущались. Маленьким он, правда, считал, что так делают не девчонки, а взрослые девушки. Отец тоже качал маму на качелях, иногда, под праздники.

И мама кричала тоже: «Манне, прекрати немедленно! Сейчас же останови! Манне, не смей!» И хохотала.

Олаф не посмел предложить Ауне покачать ее на качелях — собирался с духом, но так и не собрался.

— Ну, девчонки, кто не боится со мной качаться?

Ауне вперед вытолкнула Ида — она не окучивала картошку, уже была беременна, дохаживала последние недели. И зимой жила теперь в Сухом Носу, с мужем. Но на лето приехала к маме и по вечерам выходила иногда погулять со всеми, как она говорила — «вспомнить детство».

— Ауне у нас самая смелая девчонка. — Ида засмеялась, переглянулась с подружками. Ауне краснела и отступала назад: стеснялась, что ли, качаться с Олафом? Или просто боялась?

На ней был узкий и короткий сарафан на тонких лямочках, и Олаф все время ловил себя на том, что смотрит на ее загорелые коленки. Но на качелях, встав повыше, разглядел кое-что поинтересней коленок. Ауне сидела на дне лодки, широко разведя руки, — вцепилась в железные стержни так, что пальцы побелели, — и сверху Олаф видел почти всю ее грудь, до самых сосков. Вспомнил, что на озере девчонки сняли мокрые купальники, и задохнулся от мысли, что под сарафаном у нее вообще ничего нет. Если бы он не подумал об этом, то не стал бы раскачиваться так сильно... А тут — ну просто голову потерял!

Она сначала сидела молча и сосредоточенно, смотрела Олафу в лицо с испугом и восхищением — да, с восхищением, он не перепутал, от этого еще сильнее повело голову, совсем отшибло мозги. И чем выше взлетала лодка, тем больше было восхищения в ее глазах и тем больше страха. На Большом Рассветном в парке на качели ставили ограничители, которые не позволяли раскачаться даже до «полусолнца», а тут металлические кольца свободно ходили вокруг штанги...

Ауне не жмурила глаза, наоборот раскрывала все шире, и, когда Олаф раскачался до «полусолнца», не выдержала, запищала тоненько:

— Нет, нет, Оле, не надо, не надо, я боюсь!

А потом, когда и «полусолнце» оказалось пройденным этапом, завизжала, как все девчонки обычно:

— Ой, мамочка! Мамочка! Оле, перестань! Мама!

Вообще-то самому стало страшновато, когда лодка вышла на полный виток, — сердце зашлось, когда качели замерли в верхней точке на долю секунды и отпустила на

мгновенье центробежная сила... Но лодка миновала препятствие, понеслась к земле, набирая скорость (и внутри все взлетело от ощущения невесомости), пулей прошла над вытоптанной в земле ложбинкой, и довольно было подтолкнуть ее совсем немного, чтобы лодка сама, по инерции, сделала еще два полных оборота...

У Ауне по щекам бежали слезы, и только тут Олаф подумал, что сделал что-то не то... Остановить качели сразу не так просто, а иногда и опасно, лучше просто подождать, когда они сами остановятся. И он просто ждал, смотрел на нее сверху вниз и ждал. И думал о том, что они могли опрокинуться. Запросто. Лодка могла пойти не по той траектории, выбросить толчком их обоих. Не только глупо, а смертельно опасно, — и не собой ведь рисковал... Пожалуй, если бы сейчас у качелей объявился Матти и врезал Олафу по зубам, Олаф был бы ему только благодарен.

— Извини, — пробормотал он, не зная, куда спрятать глаза.

— Да ты чего? — Она шмыгнула носом. — Это здорово было... Очень страшно! Меня так никто еще не качал!

Она ему доверяла... Она на него полагалась...

Из всех присутствующих, должно быть, только Ида поняла, что произошло, — стояла бледная и смотрела на Олафа испепеляющим взглядом. А потом прошипела:

— Дурак, вы же чуть не разбились...

Он подхватил Ауне под мышки, помогая выбраться из лодки, и на секунду ощутил ее тело у себя в руках.

— Оле, мы правда чуть не разбились? — спросила она шепотом.

— Правда.

Она кивнула, но ничего не сказала в упрек. На следующей неделе Олаф раздобыл в Узорной тяжелые пружины и поставил на качели ограничитель.

Потом Ауне любила вспоминать эту историю — обычно в минуты близости, с особенной, пронзительной нежностью: «А помнишь, как ты “солнышко” на качелях крутил?»

Холодное зимнее солнце Гагачьего острова слепило глаза.

Они не могли подраться (и тем более убить) из-за теплых вещей. Не могли. Это невозможно, немислимо. И неразумно. Олаф взглянул на тело девочки под спальником — ребята отдали ей самую теплую одежду, а значит не потеряли рассудок, не бросились спасать собственные жизни любой ценой. Саша был самым младшим и далеко не самым сильным — никто не станет драться со слабым.

Олаф глянул на компас — солнце градусов на двадцать отклонилось от полудня, до темноты оставалось больше двух часов. Внизу, на дне «чаши», темнело раньше, и надо было вставать через «не могу»: во-первых, не тратить драгоценное светлое время, во-вторых — даже одним коленом долго стоять на камне не следовало.

Дальнейший поиск оказался безуспешным, хотя Олаф старался прочесывать лес вокруг шалаша методично, постепенно расширяя круги. Солнце освещало лопасти ветряка, но на времянку уже легла тень южных скал — только вспыхивал иногда огненными сполохами гиперборейский флаг, — в лесу же впору было светить на землю фонариком, чтобы не спотыкаться.

Подъем налегке тоже дался с трудом, хотелось есть и хоть немного отдохнуть. Напоследок солнце, катившееся к юго-западу, все же осветило времянку, и Олаф вышел к лагерю в его последних лучах. Орка словно заметила его появление и затянула свою протяжную, неземную песню. И так невыносимо, так мучительно делалось от ее крика, будто она что-то хотела сказать, будто звала куда-то... К океану? Там он уже был. Последние несколько минут ничего не решали, но Олаф и поднимался, и спускался только с северо-запада, а потому имело смысл заглянуть и на северо-восточную сторону. Просто для очистки совести.

Он увидел тело тут же, как только начал спускаться, — с западной стороны и сверху его прикрывал основательный валун. На северной — наветренной — стороне инея почти не было, и яркий вязаный свитер издали бросился в глаза.

Гуннар. Олаф узнал его сразу — самый крепкий из ребят, самый старший, ниже и тяжелей Эйрика, косая сажень в плечах. Красивый парень, даже на маленькой фотографии это было видно: смешение допотопных наций и рас породило особенный фенотип, а ветра Ледовитого океана отшлифовали его в безупречно грубую форму у мужчин и яркую, точеную — у женщин.

На спине, головой к времянке, правая нога прямая, левая чуть согнута в колене, руки подняты на уровень лица, сжаты в кулаки. Губы отечны, следы носового кровотечения. Морозная эритема. Обширные ссадины выступающих частей пястно-фалангиальных суставов правой руки с кровоизлиянием в подлежащие ткани. Опять? Нет, на этот раз ссадины покрыты корочками, да и синяки под ними заметные.

Одет в шерстяной свитер ручной вязки и утепленные с начесом кальсоны. Голова не покрыта. Носки, судя по всему, не одни, толстые таллофитовые с начесом.

Солнце опускалось в океан — закат был бледным, прозрачным, предвещавшим еще один холодный ясный день. Олаф закончил писать протокол в сумерках, долго провозился с вешками и перевернул тело, когда стало совсем темно, — долгая зимняя ночь наступает быстро. В темноте безобразие смерти внушало ужас — и вовсе не суеверный. Парень лежал затылком на остром скальном выступе, кровь на камне показалась черной...

Он был примерно одного веса с Олафом, поднять непросто. Олаф считал, что довольно отдохнул, пока делал записи, но, видно, ошибся: склон здесь поднимался слишком круто, колени тряслись от напряжения, каждый шаг давался с трудом, и, пройдя полпути, он все же оступился и навернулся на камни, обнявшись с окоченевшим телом. Прикусил язык, разбил локти, не сразу смог встать на ноги — а подняв глаза на ветряк, увидел три человеческих фигуры на фоне темного неба. Две мужских и женскую. Девичью. Локоны в инее, рассыпанные по плечам.

— Что, смешно? — спросил Олаф сквозь зубы.

Нет, им не было смешно. Они смотрели так, будто сожалели, что не могут помочь.

— Лежали бы уж... — проворчал он.

Вот так люди и сходят с ума на необитаемых островах. От одиночества. Нет, волочить тело по камням было бы неправильно — доказывай потом, где посмертные ссадины, а где прижизненные; разбирайся, где сегодняшние разрывы одежды, а где прошлые.

Руки дрожали. Не стоило переоценивать собственные силы и доказывать самому себе, что врач-танатолог ничем не хуже строителя волноломов, ежедневно ворочающего камни. Олаф отложил карандаш и бумагу — запись получилась совсем кривая, а почерк его никогда разборчивостью не отличался, — и подошел к секционному столу.

Локоны так до конца и не оттаяли...

— Не стесняйся, девочка. Я доктор, — сказал Олаф вслух и про себя подумал: «Твой последний доктор».

Из двух вязанных свитеров — один мужской, судя по размеру. Мужская рубашка из таллофитовой фланели, мужская теплая нательная рубаха, женская нательная трикотажная рубаха, комбинация тонкая с шитьем, бюстгальтер трикотажный таллофитовый. Амулет вплетен в подвеску макраме (кажется, так это у девчонок называлось). Брюки шерстяные с начесом мужские, брюки шерстяные трикотажные женские, рейтузы шерстяные; носки ручной вязки (комплект со свитером Гуннара), носки шерстяные тонкие, стельки валяные

(мужские), носки таллофитовые с начесом. Шапка шерстяная ручной вязки. Верхний слой одежды обледеневший, как спереди, так и сзади, внутри одежда влажная на ощупь.

Ребята отдали ей самые теплые вещи... Разные носки и единственная стелька Эйрика объяснялись просто: они делили одежду между собой.

Девочка лежала на склоне, после дождя со снегом вода стекала вниз. И все же Олаф отметил, что со стороны спины влаги меньше, чем со стороны живота. Высохла? Возможно. Хотя погода и отсутствие ветра в «чаше» к этому не располагали.

Ногтевые и средние фаланги пальцев правой руки темно-коричневые (отморожение третьей-четвертой степени). На левой руке отморожение отсутствовало — довольно было спрятать ладонь в рукав свитера. И, скорей всего, в правой руке она держала фонарик без корпуса. Высматривала кого-то? Это несерьезно, в трех-пяти метрах свет фонарика уже ничего не дает, не прожектор. Фонариком светят под ноги. Шла наверх — и упала?

На ладонях — многочисленные мелкие ссадины, скальпированные лоскуты кожи, точечные повреждения. Предположительно, агональные или полученные незадолго до смерти? Олаф посмотрел на свою ладонь — кожа гораздо грубей, чем у девочки, елочные иглы ее не прокололи и следов не оставили. Но он уже не сомневался — не агональные, она собирала хворост и отламывала еловые ветки. На холоде не замечаешь мелких повреждений, а кожа от мороза становится менее эластичной.

Ветер поутих, не натягивал, а лишь слегка трепал шатер с северной стороны, Олаф ловил движение боковым зрением и не особенно обращал на него внимание. И прожектора светили довольно ярко, никаких теней снаружи на стены ложиться не могло. В принципе не могло. Потому он и удивился, когда заметил, как расплывчатые тени медленно и плавно движутся вокруг него. Будто хороводом...

Пожалуй, пятьдесят граммов спирта избавили бы от наваждения, но фляга осталась во времянке. И идти туда совсем не хотелось.

Олаф тряхнул головой — тени не исчезли, а, наоборот, будто стали отчетливей. Для работы подсознания слишком прямолинейно... Не паника даже — душный, ватный страх перехватывал дыхание, сердце грохотало, заглушая шорох генератора и хлопки погнутой лопасти ветряка. Может, и стоило бежать, но бежать было некуда. Олаф лишь отступил на шаг и потянулся к воротнику свитера, сдавившему вдруг горло. Человек не должен быть один... Четыре мертвых тела в двух шагах — не в счет. Или... в счет, но с противной стороны?

Олаф поклялся самому себе, что всегда будет держать флягу со спиртом за пазухой.

Девочка лежала на секционном столе нагая, кудри рассыпались вокруг потемневшего, искаженного смертью лица; юное, совсем недавно упругое тело — кровь с молоком — посерело, налитую грудь изуродовали трупные пятна...

Надо было взять себя в руки. Выбросить из головы глупости о хороведах мертвецов — мертвецы не водят хороводов. Одиночество — оно, конечно, давит, но продержаться до прихода помощи не так уж и трудно, имея ветрогенератор, еду, одежду, крышу над головой... Не на что жаловаться.

Олаф поправил перчатки, подтянул нарукавники и взялся за наточенный нож.

— Прости, девочка. Так надо. Ничего не бойся.

Собственный голос прозвучал глухо, вплеся в полифонию шепотов, шорохов и хлопков.

Олаф иногда боялся, что Ауне увидит его за работой. Особенно над телом ребенка или девушки, хотя такое бывало не часто. Потому и привычки не хватало, отстраненности. Ножовка добавляла ощущение непостижимости, ненормальности происходящего — будто не врач, а мясник-каннибал разделяет незащитное тело... Мало над девичьей красотой поглумилась смерть — медэксперт тоже приложит к этому руку (и не только руку — пилу по дереву, наточенную отвертку, обух топора вместо молоточка).

Технически вскрытие мужчины мало отличается от вскрытия женщины, но именно тут половой диморфизм навязчиво бросается в глаза — и вовсе не различием в анатомии. На секционном столе женщина выглядела особенно мягкой, слабой, уязвимой: не те мышцы, чтобы защитить грудь и спину, не та кожа, особенно на ладонях (исколотых еловыми иглами) и ступнях (сбитых о камни, несмотря на толстые носки и стельки), не та сила в руках, не такие крепкие ребра... О каких правах женщин толкуют нынешние студенты? Право женщины — не рисковать собой. Мужчины — расходный материал эволюции, мужчине предназначено добывать, защищать, подвергаться опасности, под это заточено его тело. Тело женщины создано, чтобы вынашивать, рожать и кормить детей, и опасностей на ее пути не меньше — так зачем же усугублять?

Не смотреть, не смотреть на уроспоровые стены, по которым движутся тени! Иначе в самом деле можно сойти с ума! Мертвецы не водят хороводов! Во все не обязательно перед ними оправдываться и объясняться: ребра он рассекает не для того, чтобы вырвать и сожрать девичье сердце... Сердце он не вырвет — извлечет осторожно, вместе с другими органами грудной полости, ну разве что разорвав клетчатку заднего средостения и перерезав аорту, нижнюю полую вену и пищевод.

Кто сказал, что это хоровод мертвецов?

Долгой полярной ночью, когда даже в полдень на горизонте не светлеет небо, из глубоких темных пещер наверх выходят цверги — злобные уродливые карлики, которых люди когда-то прогнали под землю. Они не похожи на смешливых чаккли, живущих в холмах и курганах, они служат самой Смерти и не выносят солнечного света, холодный камень дает им силу и неуязвимость.

Они приходят в мир людей, чтобы мстить за изгнание, и не оставляют надежды вернуть себе землю, сковать ее вечной мерзлотой и навсегда погасить солнце. Цверги видят в темноте и в ночи безошибочно находят себе жертву — им нужна живая горячая плоть, они, как холодный камень, вытягивают тепло из человеческих тел одним прикосновением. Ближе к весне они воруют детей, чтобы забрать с собой под землю и до следующей зимы медленно пить их кровь и пожирать живую плоть.

Случается так, что рассвет застает цверга далеко от его пещеры, обычно в жилищах людей, где он ищет себе жертву. Тогда цверг прячется от солнца в темных закоулках дома — подвалах, чуланах, шкафах — и не уйдет, пока не убьет хозяев и не заберет с собой их детей.

В детстве, совсем раннем, лет в пять-семь, Олаф боялся цвергов. Так, что иногда не мог спать по ночам. И потом, уже в школе, они с ребятами любили собираться в каком-нибудь темном местечке и рассказывать друг другу леденящие кровь сказки — истории про цвергов Олаф всегда считал самыми страшными. Чем старше они становились, тем реалистичней делались рассказы, из глупых побасенок превращаясь в былички. И вот уже не «один мальчик» пошел ночью к отхожему месту, а какой-нибудь Ладвик из Халле вышел на крыльцо, а утром был найден мертвым на ступеньках своего дома. И — непременно — ужас застыл на его лице, а врач констатировал смерть от переохлаждения, хотя ночь была тихой и теплой.

Случаи внезапной паники тоже приписывали цвергам, особенно если это случалось на суше, а не на катерах или плавучих островах. И в исчезновении людей, особенно детей, тоже винули цвергов.

Верить в цвергов смешно, еще смешнее их бояться. Но одинокий каменный остров с мерзлотой на дне как нельзя лучше подходит им для жизни...

Вскрытое, но неприбранное еще тело имеет свою роковую эстетику — как точка без возврата, окончательно проведенная черта между жизнью и смертью. Разобранный механизм — совершенный казался бы — не собрать снова. Вместо сломанной куклы —

грубая, склизкая и кровавая, скверно пахнущая проза жизни. Олаф, с одной стороны, спешил привести тело в порядок, с другой — хотел сделать это как можно лучше, вернуть хоть что-то от поруганной смертью (и вскрытием) красоты. Морозную эритему потом прикроют гримом...

Вместо совершенного механизма — оболочка, кой-как набитая собственными потрохами. Что-то вроде фаршированной рыбы, красиво поданной к столу. И с этим ничего уже не поделать.

Тени (цвергов? мертвецов?) плавали по стенам шатра — Олаф малодушно решил сначала сделать записи и только потом вылить кастрюлю с нечистотами и проветрить. Он старался не смотреть по сторонам.

Лиза умерла от переохлаждения, присутствовала почти вся совокупность признаков холодовой смерти. И, похоже, вовсе не боролась за свою жизнь. Переполненный мочевой пузырь — не признак смерти от гипотермии, но ее спутник. Труп не был заморожен, обледенела только одежда снаружи. «Ложе трупа». Она умирала дольше Эйрика, который двигался, пока не потерял сознание. Значит, не шла по склону с фонариком в руках, значит, лежала на склоне еще в сознании? Не факт.

Последний прием пищи — за тринадцать-пятнадцать часов до смерти. Те же ягодные косточки — или пирожки с вареньем, или компот. Конечно, метаболизм при замерзании меняется, и вообще у разных людей он разный, но она очевидно умерла позже Эйрика. Часов на пять-шесть. Эйрик был одет много легче, и ветер на северном склоне убил его быстрее. Ветер страшной мороза. Но... не слишком ли быстро?

«Погибшая не жила половой жизнью». Олаф предпочел бы какую-нибудь другую формулировку взамен этой цинично-канцелярской.

По южной стене шатра прокатилась волна от внезапного порыва ветра, Олаф непроизвольно на нее покосился — и увидел сквозь уроспоровое полотно свет огня. Оранжевую точку в стороне южных скал. Впрочем, она почти сразу исчезла... Будто ее заслонила тень снаружи...

И теперь фляга со спиртом была не просто желанна — необходима. Потому что, если свет огня ему не померещился, нужно выйти и проверить — вряд ли кто-то ходил вокруг шатра со свечой в руках, гораздо больше это напомнило свет далекого костра.

Стыдно бояться теней на полотняных стенах. Бессмысленно и глупо. Олаф отложил протокол и принялся отвязывать створку шатра от растяжки ветряка. Как назло, узелок развязался сразу. Он помедлил, прежде чем откинуть полотно в сторону. Но откинул: решительно, одновременно шагнув наружу.

Небо горело, мерцало, переливалось, играло сотнями цветов и оттенков, качалось в мертвой зыби океана и разбивалось о камни фосфоресцирующей пеной. Волшебный, завораживающий свет, зимняя сказка гиперборейских ночей — *aurora borealis*, полярное сияние, солнечный ветер, запутавшийся в натянутых струнах магнитного поля Планеты.

Олаф расхохотался громко и нервно, смахивая слезы с глаз, — над собственной глупостью и развеявшимися страхами. Тени! Какие тени могут ложиться на освещенные изнутри стены? Это был свет! И обледеневшие южные скалы искрились в его переливах, и светился белый березовый лес на дне «чаши», и сиял разноцветьем весь океан от горизонта до горизонта.

Планета помогает сильным и смеется над слабыми. Олаф до слез хохотал над шуткой Планеты; сам понимал, что смех его не вполне здоровый, но остановиться не мог. Это от одиночества...

А впрочем, не надо думать о себе слишком много — может быть, Планета вовсе не собиралась шутить. Может быть, она провожала мертвую девочку, бросая вызов безобразию смерти.

Возвращаясь в шатер, Олаф все же прихватил из времянки флягу со спиртом.

Саша. Самый младший из студентов. От него веяло отчаяньем брошенного на смерть слепого кутенка, не осознающего близкого конца, до последнего вдоха уверенного в том, что будет спасен.

Кроме эритемы и синяков на руке, на теле нашлось не много внешних повреждений — разбиты большие пальцы на ногах и наружная сторона лодыжки. Словно он многократно спотыкался, словно не смотрел под ноги. Должно быть, его все же подхватили за руку, когда он едва не упал.

«Гусиная кожа», мошонка сморщена, яички подтянуты — налицо следы охлаждения и переохлаждения. Точечные кровоизлияния в конъюнктивы. И... он плакал перед смертью? Трудно сказать, веки опухшие, но... вполне возможно, что и от слез.

Почему-то более всего Олаф не любил извлекать из тела органы шеи, точнее — начинать извлечение: отсекал диафрагму рта, резать подъязычную мышцу, уздечку языка... Как ногтем по стеклу. В данном случае смерть пряталась именно здесь, это было видно заранее, по общим признакам асфиксии.

Олаф не ошибся: отек гортани. Отек Квинке? С таким диагнозом Олаф имел дело редко, хотелось бы заглянуть в справочники, чтобы в нем удостовериться... В любом

случае, парня никто не душил. Его бы спасла трахеотомия, но вряд ли ее можно было произвести темной ночью на каменистом спуске, под воздействием «шепота океана».

Саша умер примерно на два часа раньше Эйрика. И если отек Квинке имеет невротическую природу, а не аллергическую, то «шепот океана» мог его спровоцировать. Вот как-то так?

Не столько спать хотелось, сколько отдохнуть. Олаф собирался поужинать, растопил печку, твердо намереваясь на ночь задвинуть вьюшку, и не заметил, как задремал под колыбельную орки.

Ему приснился снегопад на южном склоне. Тихий и смертоносный. Издалека слышатся завывания ветра — наверху кружится метель, а в «чашу» снежинки опускаются часто и беззвучно, тают на мокрых плечах, ледяными каплями катятся по лицу, щекочут кожу. Но если вытереть лицо рукавом, делается только хуже — саднит, уже не щекочет. И с каждым шагом становится холодней, будто снежные тучи отогнали соленое дуновение океана и на землю дохнул ледяной ветер прошлого — ветер снежной пустыни...

Мерзлое дно «чаши» тянет тепло из живых тел быстро. И можно жаться друг к другу как угодно тесно, тепло все равно уходит. Нет спичек. И вода уже не капает с волос, а схватывает пряди сосульками. Лед коркой покрывает одежду — замерзает и соленая вода. Холодно сидеть не двигаясь. Еще холодней разомкнуть объятия, отодвинуться друг от друга. И уже понятно, что это не игра, не проверка — смертельная опасность, и надо что-то предпринять, немедленно, сейчас же! Иначе... Нет, не воспаление легких, не пузыри на руках и не отнятые пальцы на ногах — иначе смерть. Или немедленно раздобыть сухую теплую одежду — если еще не поздно, — или развести огонь, а для этого нужны спички. Лучше — и то и другое вместе. И спички, и теплая одежда остались в лагере, а значит, кто-то должен туда вернуться, сделать попытку. Тот, кто старше и сильней.

Подбородок упал на грудь, и Олаф проснулся, тряхнул головой. Из кружки на печку шипя выплескивался кипяток, подгорала каша в кастрюльке. Было тепло. Он проспал не больше десяти минут, а казалось, прошло несколько часов.

Ну да, Менделеев открыл периодическую таблицу во сне... Мало перепутать в голове факты с домыслами, можно еще и увиденное во сне к домыслам добавить... Эксперт не должен разгадывать загадки, не должен делать выводы. Тем более, если для выводов не хватает исходной информации.

У них были спички. Ведь на лежке горел очаг. Мокрая одежда была на нем самом, когда он выбрался на берег, неудивительно, что это ему и приснилось.

Олаф снова тряхнул головой, снял кружку с печки и потянулся к кастрюльке с кашей. Надо отличать то, что никакому сомнению не подлежит, от того, что только вероятно.

Как минимум двое из них спустились вниз по южному склону. Это — факт. Один из них поднимался к лагерю по северному склону, это факт? Судя по ссадинам на локтях и коленях — да, именно поднимался. Второй... Пока не ясно, поднимался или спускался, — ранение затылка скорее говорит за то, что спускался.

От завтрака до рассвета прошло не меньше двух часов, а может и больше. Скорей всего, около трех, — это вероятно. Эйрик был мертв самое позднее через четыре часа после заката. Самое вероятное — через два часа. Получается, Саша умер на закате? Или около того?

Олаф вспомнил, как поднимался по северному склону в мокрой одежде, — нет, сравнить нельзя, он потерял тепло в воде, это было решающим. Даже на ветру при легком морозце человек продержится дольше четырех часов. Перестанет двигаться, потеряет сознание раньше, но умрет с отсрочкой на несколько часов.

Каша застревала в горле, глоталось Олафу плохо с самого начала — тоже следствие гипотермии. А может, отек гортани у Саши случился от переохлаждения? Впрочем, совершенно все равно, причина отека интересна с исследовательской точки зрения, но не поможет понять, что произошло.

Следователь заставил бы найти причину отека... Но без консультации, без справочников, без микроскопа Олаф вряд ли сказал бы ему что-нибудь определенное.

Мокрая одежда в самом деле хорошо объясняла быструю смерть Эйрика. Но откуда могла взяться мокрая одежда? Не мог же он сперва искупаться... А впрочем, если «шепот океана» заставил его бежать на север, а не на юг, он мог добраться до воды, а потом, сообразив, что произошло, направиться обратно в лагерь. Сам Олаф пробыл в воде довольно долго, но успел добраться до времянки... От берега до лагеря минут пятнадцать ходу. В состоянии гипотермии — ну полчаса от силы. Олаф шел не больше сорока минут, но не по прямой, изначально не зная, где стоит времянка. Собирал по пути гагачий пух.

На этом стоило остановиться — что толку строить версии, если нет фактов? Лучше бы об этом думал следователь.

Десять минут дремы перебили сон. Да и дрова еще не прогорели. Олаф подумал немного и начал выбираться из временки — нет смысла валяться просто так, время можно потратить с большей пользой.

Небо полыхало разноцветьем. Олаф в этот раз не сворачивал шатер — света и так хватало, — но прожектора все же не погасил.

Гуннар. Теперь Гуннар. В общем-то, начиная, Олаф не сомневался в причине смерти...

Он был одет теплее Эйрика, одежда влажная на ощупь, обледеневшая снаружи. Носки мокрые, как и у Эйрика, — и без признаков мацерации стоп.

У него было больше шансов, гораздо больше. «Больной перед смертью потел?»

Так... Мокрые ноги без признаков мацерации стоп? Соленая вода не вызывает мацерации. Оба искупались в океане?

Ссаженные костяшки кулаков — обоих кулаков — с кровоизлиянием в подлежащие ткани. Две ссадины с выраженным кровоподтеком в нижней трети левой голени. Обширный разлитой кровоподтек в области правого подреберья и нижнего края ребер.

Две точки под левой лопаткой — заглубленные к центру ссадины диаметром не более миллиметра. Почему-то подумалось об укусе змеи, хотя здесь никаких змей быть не могло — они встречались лишь на архипелаге Норланд. И следов укуса Олаф никогда в жизни не видел. Вроде бы змея оставляет четыре дырочки? Или только две? Нет, расстояние между ссадинками было слишком велико — такой размер головы мог быть разве что у допотопной кобры...

Парень мог просто уколотся. Даже не на острове — на катере. Олаф достал сложенную футболку и осмотрел хорошенько. Дырочки. Махонькие. И на второй футболке, и на рубахе. Понюхал свитер — паленая шерсть долго сохраняет характерный запах, но в этот раз не сохранила. Или его не было. Посмотрел через увеличительное стеклышко, висевшее на груди, — смешное было увеличение. И показалось, что волоски начеса рубахи оплавлены, но, опять же, только показалось.

В любом случае, это не смертельно. Гематома на ребрах тоже ни о чем не говорит, упал на камень. Осаднения нет. Ссадины чуть выше лодыжки — то же самое, мог упасть. Олаф не поленился, снял нарукавник, поднял рукав и посмотрел, как мог, на свой локоть. Похоже. Ссадина и кровоподтек, ссадина не так заметна, потому что падал в куртке. Синяк больше, потому что локоть выше, удар сильней. Только вот... Падал парень до переохлаждения. Что это вдруг? Да еще и не один раз?

Синяк на плавающих ребрах очень напоминает точный удар кулаком, может вызвать перелом одиннадцатого и двенадцатого ребра, а то и повреждения печени. След на голени — удар ботинком. Двойной удар ботинком по глубокому малоберцовому нерву — профессиональный болевой прием, иногда ведет к потере сознания. Запрещенный прием, и не потому, что ниже пояса. Не слишком ли сурово для драки между студентами?

Надо отличать достоверную информацию от того, что вероятно. Но, черт возьми, драка более вероятна, чем многочисленные неудачные падения с точным (и неоднократным) попаданием болевых точками на камни. И последнее неудачное падение затылком на острый выступ — туда же.

Повреждения скальпа соответствовали форме выступа.

Гуннар не испугался секционного ножа — не было того самого внутреннего трепета, обычно исходившего от мертвых. Разве что... напряжение?

— Я знал, что ты сильный парень, — кивнул ему Олаф. — Расслабься, больно не будет.

Самая распространенная ЧМТ — падение на затылок с высоты собственного роста, Олаф видел их часто. Вдавленный перелом удивления не вызывал, форме скального выступа соответствовал. Это был прижизненный перелом, но полученный, скорей всего, после переохлаждения и незадолго до смерти — не успела образоваться внутримозговая гематома. Очаговые ушибы мозга в полносно-базальных отделах лобных и височных долей — противоудар. И... невозможно было определить, с ускорением падал парень или без. Толкнули его или он упал сам? Иногда человек и сам падает с ускорением, особенно на затылок, например на льду. А иногда довольно легкого толчка, чтобы он не удержал равновесия, — и никакого ускорения не будет.

Смертельной травма черепа не была. Скорей всего, вызвала кратковременную потерю сознания. Смерть наступила от переохлаждения, через восемь-девять часов после последнего приема пищи. Но если бы на северном склоне, падая, Олаф ударился о камень головой, он бы не поднялся больше. Даже короткого обморока, даже оглушения вполне хватало, чтобы потерять контроль над собой и ситуацией. Чтобы убить человека в состоянии гипотермии, довольно легонько подтолкнуть его на камни...

Шаги вокруг шатра перестали казаться безопасной галлюцинацией. И держать при себе следовало не флягу со спиртом, а нож.

Ему снова снился серебряный город под голубым небом. Олаф был уверен, что не уснет, но далекая колыбельная орки и монотонный шорох ветряка сделали свое дело, да и усталость сказалась.

Город стоял на дне океана и светился изнутри солнечным светом, разгонявшим вечный мрак морских глубин. Как допотопное человечество грезило о братьях по разуму в далеком космосе, так и гипербореи не оставляли мечту о том, что на Планете остались люди кроме них. О вновь поднявшихся над морем материках за поясом вулканов, об островах далекой Антарктики и — конечно — о подводном городе, сохранившем достижения ушедшей цивилизации: ее опыт, знания, произведения искусства, музыку, кино... За двести лет надежда превратилась в сказку для детей, в образ, в архетип, и, говорят, на необитаемых островах люди часто видели во сне подводный город. Как глобальное отрицание одиночества?

Хотелось проснуться до того, как сон станет кошмаром, сохранить детское ощущение волшебства, щемящего счастья — и Олаф проснулся, повернулся на другой бок, но задел разбитым локтем камень у печки, и от ощущения волшебства ничего не осталось. Темнота, шорохи, шепоты — и свист орки. Спит она когда-нибудь? Рыбу ловит? Или... она хочет его поддержать? Сказать, что он не один? Или ей так же одиноко там, в океане? Но она-то может уйти, ей-то что...

Ведь плачет, кричит... Косатки тоже не переносят одиночества.

Олаф не заметил, как уснул, и во сне шел на катере к Гагачьему острову. Ребята из спасательной группы стояли на палубе рядом с ним, он не помнил о том, что их уже нет. На южных скалах острова горел высокий сигнальный костер, ветер сдувал огонь, рвал клочьями, пламя то стелилось по камням, то поднималось тонкой свечой, то изгибалось искусной танцовщицей, то плясало неистово и дико. Свет костра дорожкой бежал по воде, качался на пологих волнах мертвой зыби — и зрелище показалось Олафу величественным. Огонь над океаном... Он поздно понял, что это предупреждение об опасности, и кричал что-то сквозь грохот шквального ветра — о смене курса и о рифе, — но голос тонул в мокрой ледяной пыли, несущейся мимо. Волны пенились и раскачивали палубу так, что через борт переливалась вода, а Олаф все кричал, до хрипа, до боли в горле, — но его никто не слышал.

Потом ледяная вода сомкнулась над теменем и сжала горло спазмом. Олаф проснулся тяжело дыша, с бьющимся сердцем и каплями пота на лице. В горле стоял колючий ком, будто он в самом деле только что кричал.

Рассвет был удивительно ясным, туман над океаном развеялся, ленивые волны мертвой зыби издали казались легким волнением, и если бы не грохот, с которым они разбивались о берег, Олаф не оценил бы их высоты и силы. В тишине было слышно, как волна, поднимаясь над сушей, шуршит галькой.

Он решил обойти остров по периметру и только потом снова спуститься на дно чаши. Хотя это было неверное решение (ведь внизу темнело раньше), Олаф не хотел сумерек и тени — слишком хорош был солнечный день. Он даже припомнил в свое оправдание малоизвестную инструкцию о борьбе с депрессиями, связанными с полярной ночью.

В снаряжении группы нашлись веревки, ледоруб, блоки и скальные крючья — так полагалось, — и Олаф прихватил их с собой. Неизвестно, можно ли без этого пройти по краю южных скал, а взглянуть на остров с самой высокой его точки следовало обязательно. Поискать оборудование метеорологов, обнаруженное студентами, — если они ничего не перепутали и не приняли за него скелет кита или выброшенные на берег водоросли.

Олаф начал обход с запада и поначалу шел без труда — по гребню холма, поднимавшегося к югу, с обрывистым берегом и довольно пологим склоном внутрь острова, на дно чаши. Вода была на удивление прозрачной — давно не приходила *Большая волна* (дней десять?), и ждать ее следовало в любую минуту. Впрочем, на высоком берегу Олафу ничего не грозило, разве что от первого удара мог завалиться ветряк, но и это казалось сомнительным. Лет через триста, может быть, цунами размоют этот островок. Но вряд ли раньше. Это в отвесную скалу *Большие волны* бьют всем весом, и остров схитрил, расстелился им навстречу пологой стороной, прогнулся под них, чтобы устоять.

Внизу, у подножья обрыва, лежала широкая гряда скальных обломков, которые *Большие волны* не могли сдвинуть с места сразу — и потихоньку, год за годом, тащили вдоль западного берега с севера на юг, постепенно дробили и перемалывали. К югу гряда становилась тоньше, а потом и вовсе исчезала — там скалы отвесно падали в океан. Волны мертвой зыби, идущей с севера, разбивались о гряду в самом ее начале и дальше катились под камнями чавкая и причмокивая, иногда натыкались на выступы и взлетали вверх брызгами, иногда с плеском вырывались вверх между камней.

Крик кита едва не напугал Олафа — резкий, будто обиженный. Он посмотрел на море в поисках плавника, и орка не заставила себя ждать: выпрыгнула из воды и с

каскадом брызг грузно плюхнулась под волну. Высунула голову, прокричала что-то возмущенно, исчезла — и опять, разогнавшись, взлетела над волной. Олаф видел ее силуэт сквозь прозрачную воду в тени острова, различал даже, как работает мощная лопасть хвостового плавника, поднимая орку вверх. И хотя он сотни раз смотрел, как тягловые косатки играют возле берега, все равно это зрелище завораживало. А еще — исчезло ощущение одиночества.

Наверное, она обрадовалась, увидев человека. Кто же знает, что ее так возмутило, — то, что он долго не выходил на берег? Или она ждала, что Олаф станет угощать ее рыбой? Кто бы его угостил рыбой... Или хотела, чтобы они вместе отправились на Большой Рассветный, к ее родичам, ее семье? Олаф тоже этого хотел.

На Озерном своих косаток не было, они приходили в Узорную с баржами из Сухого Носа или Маточкиного Шара, хотя электрохимические двигатели редкостью тогда уже не считались. Олаф мальчишкой бегал вместе со всеми смотреть на китов. Кого-нибудь из ребят заранее посылали на маяк — его верхняя площадка была видна из школьных окон, и «разведчик», завидев баржу, передавал русской семафорной азбукой: «Идут». Тогда посвященные в заговор дожидались перемены и сбегали со следующего урока на причал.

Иногда рулевые позволяли угостить орку рыбиной, но такое случалось не часто — считалось, что косатка может отхватить руку вместе с кормом, если давать его неправильно. Ну, с такими случаями Олаф за всю жизнь ни разу не сталкивался, но серьезно пораненные пальцы видел. Орка — зверь большой, серьезный и мерит людей своими большими мерками...

Конечно, очень хотелось поплавать с китами, прикоснуться к блестящей, туго натянутой шкуре, подержаться за плавник — ну и блеснуть перед друзьями отвагой... Но, во-первых, рулевые не забывали напоминать, что купаться рядом с оркой нельзя, один случайный взмах хвостом — и нет тебя, а во-вторых, за такую шалость можно было на все времена лишиться права смотреть на косаток с причала.

Когда Олаф возил Ауне в Маточкин Шар на праздник Лета, они добирались туда больше суток, на барже, которую тащили тягловые косатки, и одну из них Олаф хорошо запомнил. На середине пути, под вечер, все, кто был на барже, вздрогнули от звука работающего мотора — океан зеркалом лежал вокруг от горизонта до горизонта, катера поблизости не было. Только рулевой хохотал, глядя на недоумевающие лица немногочисленных пассажиров. Впрочем, все, кто не поленился перейти на нос и взглянуть, в чем дело, тоже начинали смеяться — звуку мотора почти точно подражала одна из косаток. Рулевой сказал, что ее зовут Аэлита и она совсем девчонка, ей пятнадцать

лет, — Ауне тогда радостно захлопала в ладоши: «Как мне, как мне!» Молоденькая орка стремилась встать под ярмо, как взрослые, а когда ей это удалось, принялась изображать катер-тягач! Олаф иногда рассказывал эту историю знакомым, но ему никто не верил.

Орка играла в холодных волнах, оглашая океан резкими криками, и оторвать от нее взгляд было невозможно — что-то гипнотическое крылось в ее танце. Поговаривали, будто косатки действуют на людей, и Олаф поймал себя на мысли, что готов спуститься вниз, к океану, по отвесным скалам на гряде огромных острых камней — даже моток веревки, накинутой на плечо, перебрал пальцами, даже поискал глазами, за что можно зацепить скальный крюк... Это от одиночества.

— Нет, красавица, — сказал он себе под нос. — Люди зимой в океане не купаются, только тонут.

Орка ответила ему особенно громким криком. Неужели и вправду звала?

Олаф посмотрел на нее еще немного и, вздохнув, двинулся дальше — косатка зашлась криком, будто просила о помощи...

— Да я ведь никуда пока не уйду... — пробормотал он, оглянувшись. — Я здесь, рядом. Чего тебе надо-то?

Странная мысль пришла вдруг в голову: орка хотела что-то показать. Как собака тащит хозяина к обнаруженной дохлой крысе. Он подошел к самому краю обрыва и с опаской заглянул вниз.

— Молодец, девочка... — пробормотал Олаф: внизу у подножья обрыва лежало мертвое тело, с высоты показавшееся маленьким, кукольным. И сразу стало ясно, насколько огромны обломки скал. Настолько, насколько остры и бесформенны...

Олаф пригляделся и чуть в стороне заметил второе тело, застрявшее между камней. Да, пожалуй, сравнение с дохлой крысой было неудачным...

Местами отрицательный уклон, высота — метров сто пятьдесят... За последние десять лет ему приходилось лишь дважды спускаться по скале, и оба раза с опытными скалолазами и соответствующим снаряжением. Да, в юности он лазил по скалам, бывало. Но скалы были пониже и попроще. Подумалось о мифических ботинках с подошвой из акульей шкуры...

Большой волны не было дней десять. И никакого оповещения не случится — она придет в любую минуту. Вот стоит только спуститься пониже... Олаф посмотрел на орку. Они чувствуют цунами загодя, уходят в океан. И если косатка плещется у берега, наверное, у него есть время...

Особенно здорово получится, если он спустится, а подняться не сумеет. Или не сумеет поднять тела — тогда и спускаться бессмысленно.

Планета помогает сильным. Спуск отнял около полутора часов, но оказался легче, чем представлялся сверху, — нашлось достаточно пологих участков, ступеней, уступов и трещин; собственно, только дважды пришлось закрепляться и ползти по скале со страховкой. Насчет подъема Олаф не обольщался.

Лишь внизу, на острых камнях, передвигаться по которым было трудней, чем по скале, ему пришло в голову, что косатке довольно десяти-пятнадцати минут, чтобы уйти на безопасное расстояние от острова в случае появления *Большой волны*. А ему этих пятнадцати минут на подъем не хватит. Глаза сами собой косились на север — не вздыбился ли горизонт? Глупо это было: когда с такой высоты *Большую волну* видно глазом, от нее уже не уйти. Конечно, от рельефа дна зависит ее скорость, и глубины тут небольшие, но горизонт близко — есть минуты две-три, не больше.

Не два — три тела. Третье Олаф заметил еще во время спуска, чуть в стороне. Медлительные волны грохотали здесь оглушительно, брызги взлетали до небес, внизу, меж камней, шевелилась и чмокала вода. Огромные камни — и *Большой волне* не сорвать с места, а такая вода не точит камень — крушит. На Большой Рассветный цунами приходили рассеянными на островах высоких широт, но северную дамбу сносило трижды с тех пор, как Олаф пришел в университет, — меньше чем за двадцать лет.

Первым был Лори. Тонкие губы, необычной формы глаза — удлинённые, с опущенными уголками. Он лежал на спине, острый камень не проткнул тело до конца, но выпирал чуть ниже ребер пологим бугром. У воды было немного теплее, чем наверху, тело не промерзло, и трупное окоченение прошло. Сломан позвоночник, размозжен затылок; возможно, повреждены кости таза. Да что там возможно — странно, что тело не порвало на куски от такого удара. Третьего дня шел дождь со снегом, кровь смыло, и утверждать что-то наверняка Олаф не мог, но... нет сомнений, это была мгновенная смерть.

Он не стал делать записей и ставить вешек — вцепившись ногтями в камень, делать это было неудобно, — лишь постарался как следует запомнить положение тела. Тащить его по камням, рискуя переломать себе ноги? Впрочем, больше ничего не оставалось. Снова захотелось иметь сапоги с подошвой из акульей шкуры...

Ноги Олаф не переломал, но, подобравшись вплотную к обрыву, еле на них держался. Подъем в эту минуту представлялся ему совершенно невозможным делом,

вертикальная стенка высотой всего метров семь-восемь казалась непреодолимой. Но над ней лежал довольно широкий уступ, и имело смысл поднять тело туда, а не бросить между камней под скалой.

Глаза боятся, а руки делают — так любила говорить его бабушка. Когда он сам поднялся на уступ, руки еще могли что-то делать, когда поднял к себе мертвеца — руки, обожженные веревкой, казалось, уже не работали. Олаф сел и откинулся на скалу — рядом с искореженным мертвым телом. Орка как назло замолчала и не высовывалась из глубины. Может быть, почуяла *Большую волну* и ушла от острова. Да, проще было бы, не спускаясь вниз и не поднимаясь обратно, поднять на уступ сразу все тела. Но не хватило бы веревки. А потому придется проделать все это еще дважды. Надо же, семь метров из ста пятидесяти — а сил уже нет.

Олаф отдыхал минут десять, косясь на север — не идет ли *Большая волна*? Планета помогает сильным, а слабого и ленивого цунами запросто застанет на широком уютном уступе...

Спускаться обратно на камни было не столько тяжело, сколько больно обожженным рукам, на камнях же дали о себе знать синяки и ушибы с прошлого раза. На кончиках пальцев кожи почти не осталось — а как еще удержаться на скользких и острых обломках?

Холдор. Он был вторым. Рослый, тяжелый... Он лежал между камней лицом вниз, и понятно было, во что превратилось его лицо от падения с высоты в полторы сотни метров. Тем не менее это был именно Холдор, потому что на правом запястье он носил стальной браслет с эмблемой Металлического завода.

Навскидку трудно было оценить повреждения, а тем более отличить прижизненные от посмертных. Олаф снова взглянул на север — нет, *Большая волна* пока не появилась.

Чтобы освободить руки, он покрепче привязал мертвеца к себе. И как-то случайно получилось, что разбитое в лепешку лицо лежало на плече и иногда касалось щеки; сломанная нижняя челюсть болталась свободно, приоткрывая рот с выбитыми зубами. Олаф подумал с усмешкой, что в таких случаях мертвые точно не кусаются.

— Прости, парень, — пробормотал он. — Я не со зла. И мне, знаешь ли, тоже не до смеха.

Добравшись до скалы, он все же не стал сразу подниматься на уступ, оставил тело на камнях и отправился за следующим. Под самым берегом, но довольно далеко.

Олаф знал, кого найдет. Несмотря на широкую штормовку и мешковатые уроспоровые штаны, несмотря на туго затянутый шнурок капюшона, даже издали в глаза

бросалось отличие от остальных тел. Сигни. Тонкая и гибкая — даже в смерти, — она лежала на боку, правая сторона головы и половина лица превратились в месиво. Ребра вдавлены внутрь, не смытая дождем серая пена в отверстии рта, на левой руке многочисленные ссадины и царапины.

Изломанное тело неестественно перегнулось, стоило его приподнять. Она была легкой — но лишь по сравнению с остальными. Олаф не стал привязывать ее к спине, положил на плечо — она повисла на нем безвольно, будто расслабилась, будто доверилась...

Грохот волн заглушал прочие звуки, но показалось вдруг, что со скал скатился камешек. Олаф поднял голову и только потом понял, что ожидал (и боялся) там увидеть. Из восьми человек, находившихся на острове, он не нашел пока только одного. Самого старшего, опытного и сильного. Версия о внезапном сумасшествии инструктора не лезла ни в какие ворота, но почему-то было трудно выбросить ее из головы. Особенно внизу, не имея возможности передвигаться быстро, ощущая свою уязвимость, с мертвой девочкой на плече.

И теперь, вместо того чтобы смотреть под ноги, Олаф то вглядывался в горизонт на севере, то запрокидывал голову вверх. Не стоило после этого удивляться ни разбитым локтям и коленкам, ни сорванной коже на ладонях.

На версию о сумасшедшем инструкторе ложилось все (или почти все). Скажи он студентам спускаться вниз без одежды и обуви — и они бы поверили, посчитали, что так надо. А дальше... Вывести из игры самых старших ребят, бросить их замерзать на ветру. Одержимые иногда обладают огромной силой, в драке инструктор мог взять верх не только над каждым из них, но и над обоими сразу. А потом остается перебить остальных поодиночке и сбросить тела со скал в надежде, что их унесет *Большая волна*. Вот только зачем? Олаф имел о психиатрии весьма смутное представление, но не настолько, насколько, например, о физике. Всякое возможно, велели голоса... Однако внезапное помешательство здорового мужчины представлялось маловероятным.

Олаф пожертвовал страховкой, чтобы не спускаться с уступа во второй раз, рассудив, что два тела одновременно ему не поднять. Он и одно поднял с трудом, даже через блок: упустил на миг веревку, обжег ладони.

Ободранные подушечки пальцев сразу дали о себе знать: опытным скалолазом Олаф не был, да и обувь для подъема подходила мало, а потому он больше полагался на руки, чем на ноги, — не умел иначе. Старался убедить себя, что страховка нужна только для самоуспокоения, и все равно не мог не думать об острых камнях внизу. И лучше сразу

разбить голову, чем сломать позвоночник и дожидаться потом *Большой волны* как избавления.

Человек не должен быть один!

Страх не прошел, даже когда руки легли на надежный широкий уступ — уж больно скользкий и неверный камень был под ногой. Олаф перенес тяжесть на ногу, приподнял голову над уступом — прямо напротив мертвого лица. На миг показалось, что мертвец смотрит на него необычными удлинёнными глазами.

— А вот и я... — выдохнул Олаф ему в лицо. — Жаль, ты не можешь подвинуться...

Солнце катилось за океан, и казалось, что его движение можно отследить глазом. Плавило воду в золото, раскаленное в центре дорожки от горизонта до берега. Олаф лежал на последней перед вертикальной стеной ступени и никак не мог встать. Не мог заставить себя пошевелиться. Холодная скала — не лучшее место для отдыха, до полной темноты не больше сорока минут... Ни одна мысль не помогала.

Мертвая девочка лежала ступенькой ниже, на правом боку, — будто спала. Ребят Олаф оставил в нише на середине пути, понимая, что до заката не поднимет три тела до верха. По крайней мере, теперь их не смоеет цунами.

Карабкаться по скале — больше двадцати метров — сил не хватало так или иначе. Спускаясь, он, конечно, оставил веревку и теперь гадал, хорошо ли вбил крюк, не было ли на веревке потертостей, — одно дело страховка на всякий случай и совсем другое — положиться только на веревку и крюк. Да, сорвавшись с этой высоты, ждать *Большой волны* не придется — но этот очевидный плюс не добавил оптимизма. И версия о сумасшедшем инструкторе казалась все более правдоподобной — если веревка натянута, довольно полоснуть ножом... Но карабкаться по скале не хватало сил, подняться по веревке гораздо легче.

Олаф шевельнулся — болело все, с ног до головы. Он умудрился разбить и подбородок, не только коленки и локти, но сильнее всего донимали руки, ладони и пальцы. И уже не жгучей болью, как поначалу, а дергающей, рвущей... Удержаться бы за веревку — какое там цепляться за камни!

Солнце погрузилось в воду наполовину, когда он встал на ноги. Привязал тело — его тоже придется поднимать! Глаза боятся, а руки делают... Руки... Олаф взялся за веревку и слегка дернул вниз — было больно. Нет, в перчатках нельзя — скользко, ненадежно.

Пожалуй, этот подъем был чуть не самым серьезным испытанием за всю его жизнь. Где-то на середине скалы ему стало совершенно все равно, хорошо ли вбит крюк, не перережет ли кто-нибудь веревку и не порвется ли она под его тяжестью. Страх не осталось — только боль и усталость. И занял-то подъем несколько минут, но на поросший мхом склон Олаф выбирался со слезами на глазах, и лежал потом скорчившись, обнимал карликовую рябинку, но не отдыхал — дожидался, когда боль станет сколько-нибудь терпимой. Заставлял себя отрешиться от нее, думать о лете, о том чудесном лете, когда возил Ауне в Маточкин Шар.

Он долго собирался с духом, никак не мог выбрать подходящую минуту, чтобы это предложить. Решился в самый последний день, когда тянуть было некуда, — подошел к ней и прямо спросил:

— Поедешь со мной завтра в Маточкин Шар?

Ауне сначала кивнула. Это потом она вспомнила, что надо спросить родителей, потом сообразила, что поездка займет дня три... А сначала кивнула.

В Маточкин Шар пришли утром, Олаф понятия не имел, чего ожидать от праздника Лета, и не представлял, как это узнать. Ауне непременно хотела в «настоящий» театр — родители водили ее только в кукольный и детский, — а Олаф слышал, что будут гонки на белухах, пентатлон, футбол, прыжки в воду и что-то еще. И что вроде бы в каких-то соревнованиях можно принять участие.

В драмтеатре шла пресловутая «Ромео и Джульетта»... И билеты, конечно, уже давно кончились — нормальные люди побеспокоились об этом заранее и теперь стояли в очереди, разбирая забронированные места. Олаф обрадовался было (спектакль шел одновременно с футболом, как выяснилось), но Ауне расстроилась ужасно — тогда он еще не знал, какими способами женщина может управлять мужчиной, и принял ее огорчение за чистую монету. Впрочем, он и теперь время от времени покупался на ее уловки, иногда всерьез, иногда — пряча усмешку. А в то время он собирался подарить ей весь мир, что уж говорить о каких-то билетах в театр... Надо было лишь перешагнуть через себя и попросить. И он попросил — чопорную пожилую пару, явно из местных.

— Понимаете, мы не знали заранее. Мы добирались сюда целые сутки... Ауне никогда не была в настоящем театре... — Олаф не умел правильно просить. — Мы всего на один день...

Немолодые супруги переглянулись, женщина (наверняка учительница!) покачала головой:

— Признайтесь лучше, что приехали сюда без разрешения, потому и не заказали билеты по рации.

Вообще-то отчасти она была права — но только отчасти. Отец пообещал Олафу, что после их отъезда договорится с родителями Ауне...

— Ну... да... — Олаф пожал плечами. Пусть так. Не объяснять же.

Женщина снова посмотрела на своего мужа, тот же уставился в потолок... Наверное, как и Олаф, не очень хотел смотреть пьесу, потому и помалкивал.

— Да, мы можем прийти сюда в другой раз, — рассуждала предполагаемая учительница назидательным тоном, — но вы должны понимать, что поступаете некрасиво. И не потому, что просите уступить билеты, а потому...

Она говорила и говорила, пока ее муж не оторвал глаза от потолка и не прервал ее речи.

— Мать, — он посмотрел на нее сверху вниз и кашлянул. — Умилились. Влюбленные дети сбежали из дома и хотят посмотреть «Ромео и Джульетту».

«Влюбленные дети» сильно Олафа смутили — и вовсе не унижительным для него, взрослого, словом «дети». Он собирался расставить точки над *i* в их с Ауне отношениях, но никак не находилось случая, повода.

— Ну конечно, а мы пойдем смотреть футбол! — «Мать» подняла глаза на мужа, и тут лицо ее разгладилось, губы расплылись в улыбке. И после этого предложение умилиться она принимала как директиву: растрогалась под конец и смахнула слезу, отдавая полученные билеты Олафу.

Футбол Олаф мог посмотреть и на Большом Рассветном, там хватало площадок и соревнования случались частенько, что островные, что университетские. Он и сам играл иногда, но так, несерьезно.

Через пятнадцать лет по иронии судьбы они с Ауне вернули этот «долг». О, чего ей стоило уговорить Олафа на годовщину свадьбы пойти в театр! Правда, не на «Ромео и Джульетту», а на «Обыкновенное чудо», но разницы не было почти никакой. И места она забронировала за месяц, чтобы точно ничего не сорвалось, — летом на Большом Рассветном всегда бывало много гостей. Но когда, получив билеты на руки, они уже собирались войти в зал, через громкоговоритель объявили вдруг просьбу уступить места двоим ребятам, приехавшим с Ойвинда на один день. Мальчик и девочка лет семнадцати мялись возле билетера, и так получилось, что Олаф и Ауне стояли совсем рядом. Олаф поднял глаза к потолку, делая вид, что его это не касается, но Ауне дернула его за рукав:

— Тебе это ничего не напоминает?

Он пожал плечами.

Они были не единственными, кто согласился пожертвовать билетами, но Ауне убедила остальных в том, что у нее места лучше, а потому именно их надо отдать «детям». И вместо спектакля, смахнув слезу умиления, предложила Олафу просто погулять. Они целовались на пустынных дорожках ботанического сада и весь вечер вспоминали, как ездили в Маточкин Шар.

Солнце снова висело над опустившимся горизонтом — будто время потекло вспять.

Перчатки помогли, хоть и не сильно, и бросить тело теперь было совсем уж малодушно. Девочка — она легче остальных, такая хрупкая... Такая хрупкая, что по правой стороне переломаны все кости. Даже если мертвым и все равно — не все равно живым. Оставить ее одну на каменной ступеньке, на ветру, перевязанную веревками? Чтобы ночью снова увидеть на стене времянки ее силуэт? Услышать всхлипы и причитания?

По прямой до лагеря добираться было ближе, но идти пришлось бы по краю чаши, где уже сгушался сумрак, и снова вверх по склону. Олаф выбрал кружной путь, по берегу: длинней, зато без подъемов, даже с небольшим уклоном вниз.

Поначалу он совсем не замечал тяжести тела на плече — идти было гораздо легче, чем карабкаться в гору, — только потом, преодолев больше половины пути, начал менять плечо все чаще и чаще.

Добрался до времянки. Включил прожектора. Уложил девочку в шатре, рядом с остальными, прикрыл спальником. Разжег огонь в печке. Выпил воды. Перевязал руки. И думал еще, что глоток спирта придаст ему сил, но думал лежа, а потому до фляги так и не добрался, уснул раньше, разморенный теплом и убаюканный протяжной песней орки.

Ему приснилось морское чудовище, поднимавшееся из глубин, — огромное и странно неподвижное, будто мертвое. Во сне Олаф плыл по спокойной теплой воде океана, и берега не было видно от горизонта до горизонта, бездна окружала его со всех сторон, двумя полусферами: бирюзовое небо сверху и прозрачная зелено-голубая вода снизу. Но это не пугало, напротив — давало ощущение простора и свободы. Во сне он не чувствовал одиночества. Сначала тень в глубине была лишь тенью, но чем выше она поднималась, тем ясней проявлялись очертания огромной рыбы с вертикальным хвостовым плавником и тупым скругленным рылом. Чудовищная доисторическая акула? От нее исходил странный, пугающий запах — чужой запах, от него хотелось бежать, спастись... Две бездны вокруг стали ловушкой — некуда спрятаться! И собственное

сильное, закаленное тело было крохотным и голым по сравнению с закаменелой шкурой чудовища...

Олаф проснулся от пульсирующей боли в руках — подействовала мазь, вытягивающая из ран грязь и инфекцию. Он знал и более радикальный, дедовский способ — пригоршня соли, растертая в ладонях, — но решил с этим пока обождать.

Вряд ли он проспал больше полутора часов — угли в печке еще не погасли. Хотелось есть, но прежде чем достать из тамбура банку консервов и недоеденную за завтраком кашу, Олаф пересчитал куртки и сапоги. Обнаружил шесть курток из тюленьей кожи на меху (одну из них женскую) и одну пуховую парку-пропитку, тоже женскую. Итого семь. Пять пар кожаных сапог (две из них женские) и две пары высоких ботинок на шнуровке. Итого семь. Один из колонистов был обут и одет. И именно этого колониста Олаф пока не нашел.

Он оглянулся на вход, потянув нож из ножен на поясе, покачал его на ладони, примерился и воткнул в крышку консервной банки — из-за повязок сжимать нож в руке было неудобно. Нет, версия о внезапном сумасшествии инструктора никуда не годилась. И снова — нечестной она была, оскорбительной.

С забинтованными руками работать невозможно — после обеда Олаф сменил бинты на пластырь. Да, в секционной госпиталя ОБЖ ему бы вообще не позволили делать вскрытие такими руками, даже в нормальных перчатках, а не в трикотажных таллофитовых... Но тут не госпиталь ОБЖ. И, поднимаясь по скале без страховки, он рисковал гораздо серьезней. На крайний же случай оставался дедовский способ лечения инфицированных ран.

Олаф выпил три глотка спирта — в малых дозах алкоголь тонизирует. Сразу перестали трястись руки, и колени больше не подгибались.

Под штормовкой у девочки нашлось довольно теплой одежды. Амулет в легкой серебряной оправе в форме паучка. Но главным фактором, конечно, следовало считать непродуваемые и непромокаемые штормовку и уроспоровые брюки. Под наружную пару носков были подложены и толстые валяные стельки.

Без одежды переломанное тело казалось особенно беззащитным — не требовалось сбрасывать его с такой высоты, чтобы разрушить. И кем надо быть, чтобы убить женщину, девочку? Чудовищем? Безумцем?

Олаф опомнился: версия о сумасшедшем инструкторе — глупая фантазия. Если он и был одет, это ничего не значит. А впрочем... Вдруг «шепот океана» вызывает не только панику, но и помешательство?

Не нашлось никаких подтверждений тому, что Сигни сбросили с обрыва, никаких следов сопротивления...

И варвары, и пираты, случалось, насиловали женщин, но обычно не убивали... Олаф знал, что девушек учат не сопротивляться в таких случаях, чтобы свести травмы к минимуму. Может, она и не сопротивлялась? Потому нет синяков?

— Прости, маленькая... Я должен проверить, так положено, — вздохнул Олаф. — Я доктор, это как на медосмотре...

Она умерла девственницей. Никто ее перед смертью не насиловал, ни по-человечески, ни извращенно. Да и одежда была надета аккуратно.

Это «шепот океана». Двое направились вниз по южному склону, двое по северному, трое бросились на юго-запад и бежали, пока не сорвались со скал. Олаф видел такие случаи — в панике человек бежит не разбирая дороги, а в темноте трудно заметить обрыв.

Искать внешние повреждения на левой стороне было бессмысленно, но по правой стоило отметить исцарапанную ладонь и сбитую ступню. Сбитая ступня не вызвала вопросов — если бежать в темноте не разбирая дороги в носках, ничего не стоит сбить ноги.

Олаф записывал данные наружного осмотра, и ему чудились шаги возле шатра. Тихие и осторожные.

Он остался один где-то там, на острове. Живой или мертвый, но один. Человек не должен быть один... И не было ничего удивительного в том, что он пришел к шатру. Живой или мертвый. Олаф лишь покосился на нож — даже не потянулся. К тому же тяжелый охотничий нож на поясе, с его точки зрения, уступал секционному — отточенному как бритва.

Олаф возился долго, разбирая тело «по косточкам», описывая каждый из многочисленных переломов. Извлекая раздавленный мозг. Вынимая ребра, проткнувшие сердце. Вскрывая разорванные ударом легкие, печень, селезенку. Распиливая позвоночник, чтобы убедиться в полном разрыве спинного мозга.

По-видимому, хоронить ее будут в закрытом гробу, но Олаф положил бы ее на правый бок, будто спящую. Впрочем, это не его дело.

Он никогда не примерял чужую смерть на себя и — тем более! — на близких. Но не всегда мог отключиться совсем, ощущая и горечь, и сожаление, и боль. Не чужую боль — свою. Нельзя пропускать через себя каждую смерть — она выжигает что-то внутри, оставляя незаживающий струп вместо прочного келоидного рубца.

У девочки не нашлось выраженных следов холодовой травмы. Падение с высоты было прижизненным, смерть наступила мгновенно. И все логично ложилось на версию «шепота океана», кроме одного: она умерла через двенадцать-четырнадцать часов после последнего приема пищи. А не через шесть-семь, как Саша.

Но кто сказал, что Сигни завтракала на катере? Малиновые косточки не показатель, пирожков с вареньем она могла поесть и на ужин. Олаф пожалел, что не поднял остальные тела...

Повреждения правой ладони. Олаф не поленился и взглянул на ладони Лизы — да, очень похоже. И... Саша не собирал дрова и не ломал лапник — или умер раньше, или был не в силах это делать. Не могла же одна Лиза соорудить лежку в ельнике — наломать столько лапника, сложить очаг из камней, набрать дров... Даже вдвоем с инструктором это было бы затруднительно. Тогда трое упавших с обрыва тоже принимали в этом участие? Олаф не посмотрел на ладони Лори и Холдора и теперь пожалел о своей невнимательности.

Какой-то странный получался «шепот океана», действующий с промежутком в несколько часов. Впрочем, никто точно не знает, как это происходит, почему и возможно ли повторение. Никто не знает, что служит источником инфразвука — синий кит, например, способен издавать звуки на очень низкой частоте, и довольно «громко». Может быть, именно он «пел» неподалеку от острова.

Олаф снова пожалел, что не смог поднять вверх двоих ребят... От того ли, что причины их смерти что-то проясняли, или потому, что тогда не пришлось бы выходить из шатра? Однако не сидеть же на холоде всю ночь... Давно пора было составить полную опись вещей.

Опись он так и не составил. Это следователю было привычно рыться в чужих вещах, Олаф же, на свою беду, с самого начала наткнулся на рюкзак Лизы, где сверху лежал блокнот. Еще не зная, чьи это вещи, Олаф подумал, что в блокноте найдет что-нибудь важное, но тут же понял, что держит в руках личный дневник девочки и читать его непорядочно, взглянул только на дату последней записи — она была сделана еще на катере. Из блокнота выпала фотография Эйрика шесть на девять, на оборотной стороне

которой было написано: «Через два года мы с тобой поженимся, через два года, через два года». И стояла дата — два года подходили к концу.

Она ждала его, лежа на склоне. Она светила ему фонариком — да, фонарик ничего не освещает и на расстоянии в пять метров, но огонек виден издалека. Надеялась, что он найдет ее и спасет? Нет, она могла ждать его на лежке, где горел очаг, где спасти ее не требовалось.

Олаф вспомнил вдруг спектакль в драмтеатре Маточкиного Шара, вспомнил, как Ауне ревела, выходя из зала. От сравнения по спине прошел холодок: театральные страсти показались кощунственными, оскорбительными, слишком красивыми рядом с беспощадной, алогичной реальностью.

На руках Эйрика не было следов от заготовки лапника и дров, он не знал, где шалаш. Лиза светила, чтобы он нашел дорогу к лежке, к огню... В это время он был уже мертв. Она замерзла, надеясь его спасти, и фонарик, должно быть, горел и после ее смерти — пока не сели батарейки.

Олаф давно стал тем самым взрослым мужчиной, способным понимать человеческие страсти, о котором когда-то говорила ему учительница литературы. Нет, не «Ромео и Джульетта» — чудовищные, вывернутые в абсурд, доведенные до абсолюта «Дары волхвов»... Почерневшие пальцы, сжимающие разобранный фонарик, — и смертельный, пронзительный ветер северного склона. Он шел в лагерь за спичками и одеждой, чтобы спасти ее, — она указывала дорогу фонариком, чтобы спасти его... «Как там холодно!» Зачем он взял ее с собой? Зачем? Зачем она надеялась на его возвращение?

Олаф тряхнул головой: хватит. Нет смысла перебирать бесконечные «если бы» — от этого ничего не изменится. Холодок замер где-то в области солнечного сплетения, но все равно время от времени обжигал, переворачивал все внутри.

Олаф не изучал криминалистики — так, знал кое-что от следователей. Да и они изучать-то изучали, но опыта имели маловато. Отдел БЖ расследовал в основном несчастные случаи, а если речь и шла о преступлении, то преступника искать не требовалось. За все время работы Олафа в ОБЖ только однажды по-настоящему расследовали преступление — на Каменных островах заключенного сбросили со скал. Был очень громкий скандал, подозревали и администрацию, и охрану, потому что Олаф нашел на теле погибшего следы от применения электрошокера. Вообще-то охране не возбранялось использовать шокеры — не стрелять же, в самом деле, в заключенных, если что. Кроме того, Олаф никогда бы не догадался, что это были за следы, если бы ему не подсказал тюремный врач. В конце концов выяснилось, что погибшего сбросили со скал

сами заключенные — они жили по странным законам, непонятным Олафу, чем-то похожим на «законы» варваров. Или стайных животных. Большинство из них были пиратами, грабившими мелкие острова, и от варваров отличались мало.

Вот тогда, на Каменных островах, и звучало чаще всего слово «мотив»: в самом деле, казалось, что ни у администрации, ни у охраны нет мотива для предумышленного убийства. Но следователь все же выдвинул несколько версий, в том числе — сокрытие другого преступления. Версия не подтвердилась, но... что, если здесь произошло нечто похожее? Вряд ли семь человек сразу погибли из-за чьей-то ревности, зависти, карьеризма. Но если все семеро стали свидетелями какого-то преступления, узнали что-то такое, очень важное, чего никто не должен был знать?

Лучше бы об этом думал следователь, потому что версия тоже получалась кривой и неправдоподобной. Все семеро видели, как Антон из Коло нарушил какую-нибудь инструкцию ОБЖ? Маловато для убийства семи человек. Вот если бы он на глазах у студентов задушил жену... Привез мертвое тело в трюме катера? Глупости это, какое преступление вообще может совершить человек, чтобы его надо было скрывать семью новыми преступлениями?

И почему, собственно, Антон из Коло? Может, это был капитан катера, который доставил студентов на островок. Может, команда катера собралась стать пиратами, а студенты об этом догадались. Смешно. Тот катер благополучно вернулся на Большой Рассветный.

В рюкзаке инструктора не нашлось ничего интересного: носильные вещи, зубная щетка, порошок, мыло, помазок... Не было бритвы. Конечно, он мог забыть ее дома или на катере, мог кому-нибудь отдать. Однако этот факт показался неприятным, с учетом того, что наутро предстояло спускаться с обрыва и подниматься вверх. Похоже, Антону из Коло (живому или мертвому) не нравилось, что кто-то роется в его вещах, — Олаф слышал шаги около времянки. Впрочем, это мог быть и не Антон... Почему бы злобным цвергам не поискать здесь живой теплой плоти? Как минимум трое из восьми колонистов умерли от переохлаждения, и, хотя на их лицах не было гримасы ужаса, кто сказал, что не цверги забрали тепло из их тел? Эта версия здорово поясняет, почему Эйрик и Гуннар замерзли так быстро. Кто сказал, что не от цвергов бежали к обрыву трое ребят? Кто сказал, что приступы внезапной паники — это «шепот океана»? Может быть, это цверги шепчут из-под земли свои страшные заклинания?

Олаф тряхнул головой. Это от одиночества. Люди недаром сходят с ума на необитаемых островах. Почему-то низкорослые фигуры в ночи представлялись слишком

отчетливо, неподвижные и немые, вперившие взгляды в освещенную времянку. Плотоядные взгляды. Они служат самой Смерти и приносят ей свою добычу.

Они уводят в подземелья детей, чтобы до осени пожирать живую плоть. Олаф подумал, что он уже не ребенок, — утверждение показалось ему двусмысленным, а потому смешным. Смешок прозвучал глухо и страшно, будто хихикнул безумец...

Пятьдесят граммов спирта развеяли глупые страхи. В рюкзаке инструктора не было никакого блокнота для записей, только три книги, две старые, на допотопном русском, и одна современная. По иронии судьбы последняя называлась «Шепот океана» — Олаф только слышал об этой книге, но не читал ее. Профессора в институте океанографии говорили о ней с уважением, а филологи университета отчаянно ее ругали.

Олаф любил читать лежа.

Книга начиналась с десятистраничного предисловия, написанного именно профессором-океанографом, и повествовало оно вовсе не о том, что надеялся найти Олаф, — не о приступах внезапной паники там говорилось, а о видениях, которые преследуют человека в океане. Видения, вопреки мнению автора книги, не являются пророчествами, а, скорей, носят характер предупреждений. Не предсказывают, а прогнозируют ближайшее будущее на основе уже свершившихся фактов, неизвестных тому, кому они являются, но о которых знает «океан» (в сноске отмечалось, что под океаном в данном случае следует понимать неизвестный науке фактор, имеющий воздействие на человеческий мозг). Иногда видения столь чужды человеческой психологии, что могут вызвать аффективное расстройство (необязательно панику: и депрессию, и эйфорию). Исследование описанного в книге явления, возможно, прольет свет на многие загадки океана и поведения человека в океане.

Показалось забавным, что в выходных данных книги стояла отметка, сделанная службой информационной безопасности ОБЖ, — никаких сведений, раскрывающих государственную тайну, книга не содержала.

Если у Норы умирал больной, она обязательно присутствовала при вскрытии, и такие случаи Олаф очень не любил, хотя и отдавал ей должное. Нору боялись (и Олаф не был исключением), чувствовали себя при ней не в своей тарелке, под ее взглядом хотелось опустить глаза. Олаф помнил ее по университету, она училась на четвертом курсе, когда он приехал поступать. Высокая темноволосая красавица, ее трудно было не заметить, не

запомнить. Пожалуй, Олаф никогда не встречал столь красивых женщин — совершенной, отталкивающей, пугающей красотой. За те восемнадцать лет, что он знал Нору, она нисколько не изменилась.

Ее муж погиб через год после рождения ее первого (и единственного) выжившего ребенка, больше Нора замуж не выходила. Олаф не интересовался чужой личной жизнью, но знал, конечно, что у нее растёт шестнадцатилетний шалопай — неплохой, в сущности, мальчишка, однако явно нуждающийся в мужской руке потяжелее. Нора беременела еще несколько раз, но ни один из ее детей не выжил. Говорили, что она встречается с чудиком из института океанографии, но «чудик» оказался Олафу слишком хорошим и бесхитростным парнем, чтобы завоевать такую женщину, как Нора.

Женщина-хирург, и хирург талантливый... Наверное, Олаф все-таки завидовал. А если не завидовал, то ощущал свою неполноценность рядом с нею. Он мечтал стать хирургом, а вовсе не танатологом, он ломал себя долго, и перешагивал через себя, и убеждал себя, что привыкнет. Не привык. Ему приходилось лечить живых и даже делать несложные операции, в экспедициях в основном, но ответственность слишком тяготила его, он все время боялся ошибиться. Нет, не колебался, принимая решения, и руки у него обычно не дрожали, но потом дожигал в себе этот страх, доходил до бессонницы и нервных срывов. Однако когда профессор с кафедры танатологии предложил ему место в интернатуре, Олаф был обижен, возмущен, собирался с гордостью отказаться.

— Ты все равно не станешь хирургом, — сказал ему профессор.

— Почему? — Олаф уже понимал, что это не его призвание, но еще на что-то надеялся.

— Тебе не хватит уверенности. А между тем ты прирожденный доктор мертвых.

— Откуда ты знаешь?

— Я видел тебя в анатомичке. Есть циники, из которых выходят неплохие эксперты, но не более, есть лирики, склонные к инфернальной поэтике, у них обычно маловато профессионализма...

— А я чем-то лучше? — поморщился Олаф. — Может, я тоже... циник...

— И первые, и вторые, если и заговаривают с мертвыми, то... слишком фамильярно. Ты же говоришь с мертвыми, как с живыми.

Олаф не усмотрел в словах профессора ничего для повышения самооценки, но через неделю дал согласие — больше от разочарования в самом себе и в будущем. Да, вскоре — через год примерно — он понял, что выбор сделан правильно, удачно.

Возможно, ему повезло с учителем, а может, он и впрямь имел способности к танатологии.

Однако рядом с хирургами Олаф до сих пор чувствовал себя немного ущербно, а с Норой — вдвойне.

В тот майский вечер она пришла в секционную совершенно невозмутимой, как всегда, — после экстренной операции умерла роженица. Олаф собирался вскрывать ее утром: смерть женщины, да еще и родами, — это всегда тяжело, но лучше утром. Чтобы до прихода домой воспоминание успело выветриться из головы. А может, ему просто хотелось оттянуть неприятную минуту.

Нора, как обычно, была предельно корректна и немного официальна.

— Олаф, ты собирался уходить?

Он неопределенно пожал плечами.

— Я не имею права настаивать, но хочу попросить об одолжении. Ты не можешь вскрыть роженицу сегодня, сейчас?

Не хотелось. Совсем не хотелось. Но отказать Норе — это не уместилось в голове. Ей никто не смел отказать. Олаф не знал, чем мог бы обернуться отказ, — вряд ли скандалом или неприятностями, — но проверять почему-то не пробовал.

Он снова пожал плечами и направился за халатом, который успел снять. А вечер был чудным, один из первых столь теплых вечеров, и Олаф предвкушал ужин на террасе, а не в кухне, и думал почитать перед сном, а может, и прогуляться по берегу, когда Ауне уложит девочек спать... Вместо этого в голове нарисовалась другая картинка — он вваливается в дом, когда дети уже спят, усталый и злой, Ауне обиженно греет ужин в третий раз, зеваает и ставит перед ним тарелку с видом оскорбленной добродетели, а потом уходит спать, не дождавшись, когда он поест. И ложится лицом к стенке, засыпает до того, как Олаф успеет раздеться.

Нора была спокойна и холодна, как Снежная королева. Встала с левой стороны секционного стола, спрятала руки в карманы.

Олаф не стал спрашивать, что произошло, — прочитал в истории болезни. Первые роды, нефропатия, преждевременная отслойка плаценты, внутриутробная гибель плода — кесарево, кровотечение, операция по удалению матки — дыхательная недостаточность, легочное кровотечение — смерть.

— Что ты хочешь от меня? — спросил он.

— Я хочу знать, где ошиблась.

— Можешь пока посидеть в ординаторской, — предложил Олаф. Он не любил, когда кто-то смотрит на его работу. — Я позову.

— Я постою, если ты не против, — ответила она.

Олаф не сдержался — какого черта он должен сливать накопившееся раздражение на Ауне, если она ни в чем не виновата?

— Только молча, хорошо? — проворчал он сквозь зубы.

Нора кивнула. И в самом деле молчала, наблюдая за его работой. Смотрела сосредоточенно, кивала самой себе, иногда жестом просила показать что-нибудь поближе. Легче от этого не становилось.

— Острая почечная недостаточность, похоже. Ты знала? — спросил Олаф.

— Мы делали кишечный диализ.

— Я не уверен, посмотрю гистологию, но вроде имеем тромбогеморрагический синдром. Внутрисосудистые свертки и кровоточивость тканей.

— Думаешь, из-за почечной недостаточности?

— Я не думаю, только констатирую. Непосредственная причина смерти — закупорка дыхательных путей кровью.

Нора снова кивнула молча. Умница, красавица... Холодная, как рыба. Ничего кроме профессионального интереса. Даже страшно — ведь она тоже женщина. Когда идет борьба за жизнь, некогда рефлексировать. Но теперь-то спешить некуда.

— Послушай, тебе не страшно видеть это... каждый день? — вдруг спросила она.

Олаф промолчал.

— Ты что, вправду можешь говорить только с мертвыми? — улыбка тронула ее губы, но не коснулась глаз. Холодная улыбка.

— Вправду, — ответил Олаф, чтобы она отвязалась.

— И они тебе отвечают?

— Да.

— Поговори с ней. Спроси, как она там...

— Где? — Олаф поднял на Нору глаза. Совсем обалдела? Нашла тоже медиума...

— Там, куда они уходят, — она снова холодно улыбнулась, сделав вид, что это шутка.

— Ты хотела знать, в чем ошиблась. Твоей ошибки я не вижу. Нефропатию надо было вовремя лечить. Может быть, кесарить сразу. Но когда отслойка пошла — все, там оно под откос покатилося... Даже допотопная медтехника не помогла бы. Ты все правильно делала.

Олаф думал, что ответ ее успокоит, но она задумчиво покивала, перевела взгляд на окно. И сказала:

— Жаль.

— Почему?

— Значит, в следующий раз я снова ничего не смогу изменить.

Нора отошла к окну и повернулась к Олафу спиной. Нет чтобы уйти совсем. Оставалось только прибрать тело, сделать все, как было, а это недолго.

— Еще что-нибудь тебе нужно? — спросил он, надеясь, что она поймет намек.

— Извини, что испортила тебе такой вечер. И главное — напрасно. — Она помолчала, а потом заговорила быстро, будто боялась, что Олаф не даст ей закончить: — Я шла сюда и надеялась именно на тот ответ, что получила. Думала, что не смогу уснуть. Но лучше бы это была моя ошибка, теперь я понимаю. А это фатум. И против него не попрешь. Как, наверное, тяжело каждый день видеть смерть и знать, что от тебя ничего не зависит... Со мной такое случается не часто, но... мне кажется, что часть меня безвозвратно уходит вместе с ними. Ты так и не ответил, неужели тебе не страшно?

— Нет, — ответил он коротко. Каждому свое.

— Тебе ее совсем не жалко? — Нора резко обернулась. — Ее, ребеночка?

— Пошла ты знаешь куда... — проворчал Олаф и занялся кишками. Развороченное, выпотрошенное женское тело коробило, а не пугало. Не жалость вызывало, а ощущение противоестественности, несправедливости. Смерть нужно уважать, но это не значит, что с ней надо во всем соглашаться. Так же как с Норой.

Да, что-то безвозвратно уходит вместе с ними, но Олаф считал, что в этом и состоит обязанность «доктора мертвых» — отдать им что-то напоследок.

— У моего сына обнаружили опухоль мозга, — неожиданно выговорила Нора, глядя в окно.

Вообще-то руки опустились от этих ее слов. И от того, с каким спокойствием она их произнесла. Единственный сын.

— Это точно? И степень злокачественности определили? — спросил Олаф. Без той аппаратуры, которую имели допотопные врачи, такой диагноз поставить непросто.

— Там не злокачественность имеет значение, а локализация. Пятилетняя выживаемость восемьдесят процентов. При тотальном удалении, — она издала звук, чем-то похожий на всхлип. А потом вскрикнула, зажав рот: — Пятилетняя!

И от того, что она зажала рот рукой, крик получился похожим на звериный вой, отчаянный и страшный.

— Погоди, погоди, — Олаф оторвался от тела и выпрямился. — Ты же врач, «пятилетняя» — это не значит, что через пять лет все повторится, это статистика, вероятность...

— Да-да, вероятность... Еще послеоперационная летальность, — забормотала она. — Тоже вероятность. В нашем поколении вероятность рождения ребенка, способного дышать, — один к трем. Я родила девять... Вероятность всегда против меня, всегда! Через три дня мне исполнится сорок. После меня вообще ничего не остается, ничего!

Олаф скрипнул зубами, вздохнул и снял перчатки. Амазонка... Снежная королева... Разве можно все это держать в себе? Надо верить людям, опираться на людей. Понятно, сегодня у нее страшный день, — зашкалило. Вообще-то Олаф был паршивым психотерапевтом...

Она была высокой, доставала ему до виска. Человеку нужно чужое прикосновение — тогда он чувствует, что не один. Руки воняли, но не сильно, — хирурга не напугаешь. Олаф обнял ее за плечо, тронул губами волосы на затылке. Высокая — но тонкая, и не гибкая, как казалось, — хрупкая.

Она повернулась резко, вырвалась из рук. Сказала холодно:

— Ты... неправильно меня понял. Извини. Я не хотела вешать на тебя свои проблемы.

— Перестань. Это не проблемы — это беда.

— Да, и это моя беда. А не твоя. Мне не нужно сочувствия, можешь поверить. Мне нужно чудо. Волшебство. Мне нужно, чтобы вероятность повернулась ко мне лицом. Извини, просто... как-то все сразу навалилось... Этот день рождения еще... проклятый день рождения... И эта девочка сегодня, она же совсем девочка, ей еще двадцати не исполнилось, это просто... это какой-то чудовищный рок, никто не ждал...

Глаза Норы оставались сухими, но она поднимала лицо, будто хотела спрятать слезы. И морщилась. Холодная, отталкивающая красота исчезла, за ней не стояло ни обаяния, ни прелести, ни соблазнительности — ничего, что делает женщину желанной. Но... ничто не вызывает большего сочувствия, чем минутная слабость сильного человека. Нет, не сочувствия даже, не унижающей жалости, — странной, острой, болезненной любви.

Он поцеловал ее насильно, обхватив за руки, чтобы она его не оттолкнула. Она бормотала, что Олаф неправильно ее понял, что это чудовищно — в секционной, рядом с раскрытым телом, что ей не это вовсе нужно, что она не собирается больше рожать, а если и собирается — то не от первого встречного, что это вдов утешают в постели, а не

матерей, что она не простит себе никогда, что это оскорбительно в конце концов! Но потом... Не сдалась, нет — приняла решение. Расслабилась, размякла и честно ответила на поцелуй. Ее хотелось отогреть, а лучше всего замерзших отогревают человеческие тела. Человеку необходимо чужое прикосновение...

Вот такая вышла интересная психотерапия.

А чудо все-таки произошло. Нора зашла в секционную через неделю — до этого она избегала встреч с Олафом, — посмотрела надменно, сверху вниз. Начала официально:

— Я должна поставить тебя в известность...

— Да ну? — Олаф наклонил голову набок — он тоже чувствовал себя неловко, потому и выбрал этот снисходительный, издевательский тон. — В известность?

Она пропустила его колкость мимо ушей.

— Диагноз оказался ошибочным, моему сыну ничто не грозит. Это не опухоль, что-то возрастное, гормональное.

Олаф кивнул. Улыбнулся. Не ей — от радости, от того, что тяжесть свалилась с плеч. Он и не догадывался, какая это была тяжесть... Как не чувствуешь веса рюкзака, пока его не снимешь.

— И я хочу тебя поблагодарить, — продолжала Нора холодным, официальным тоном, — за то, что ты меня поддержал в такую трудную минуту...

— В случае чего — заходи еще, — ответил он с мрачным вызовом, без иронии. Уверенный, впрочем, что после этих слов она точно к нему не пойдет.

Во сне он падал со скал — в темноте. Цеплялся перед падением то за камни, то за веревку. Веревка выскользнула из рук, оставляя ожоги, камни чулком снимали с ладоней кожу. И потом, стоя на палубе катера, которую раскачивал шквал, он не мог заставить себя взяться за поручень, холодный, мокрый и соленый: скользил, падал, опять скользил, натываясь на снасти, углы и перила... А над островом горел сигнальный костер, предупреждая об опасности, но никто этого не понимал — считали огонь зовом на помощь.

Черная вода опять смыкалась над теменем, но из глубины появлялся серебряный город, освещенный солнцем. Олаф плыл на свет и был у самой цели, когда доисторическое морское чудовище вынырнуло из темноты ему наперерез и раскрыло акулюю пасть размером с дом.

Руки болели. Пожалуй, сильнее, чем накануне. Только самоубийца полез бы вниз по скалам без кожи на пальцах, с мокнущими, воспаленными ранами на ладонях. Все остальное болело тоже, и мышцы с непривычки, но с руками не сравнить. И потому Олаф, подумав, решил сначала совершить-таки обход островка по периметру, но начать с восточного берега — солнечного на рассвете.

Они не ходили за водой на берег — доставали ее сверху. Прямо возле лагеря стояла закрепленная катушка с веревкой, только ведра на конце веревки не было. Олаф посмотрел на кончик — перерезан? Похоже на то. Кому-то срочно потребовалось ведро, так срочно, что некогда было развязать узел? Олаф решил не трогать веревку и вечером поднабрать воды в бочку.

Дорога по-над обрывом была удобной, легкой, полпути до южной оконечности острова Олаф прошел минут за двадцать. Дальше стало немного тяжелей: сначала впереди поднялся каменный гребень, который проще было обогнуть со стороны обрыва по узенькой тропке, потом пришлось время от времени карабкаться вверх по камням.

Здесь скалы падали в океан отвесно и волны не грохотали, а бухали, чавкали и плескали. И просвеченная солнцем вода была еще прозрачней, чем с западной стороны. На дне тоже лежали огромные каменные глыбы, поросшие бурыми водорослями, и быстро терялись в синей глубине — дно круто уходило вниз. Олаф удивился — он считал, что здесь мелко, катер шел к острову с юго-юго-востока и в трехстах метрах от берега напоролся на риф...

Он посмотрел в этом направлении — ничто не тревожило спокойствия мертвой зыби, огромные волны катились ровно и полого. Восьмиметровые примерно волны... Злополучный шквал не поднял такой волны, это волна далекого долгого шторма. А борт катера лопнул снизу доверху, и выше ватерлинии, — будто его бросили на скалу...

Нет, Олаф попросту что-то перепутал. В темноте, нахлебавшись воды, обалдев от холода... Шквал мог отнести катер в любую другую сторону...

Сколько хватало глаз, мертвая зыбь нигде не встречала препятствий.

Первую встретившуюся ему ступень, вырубленную в скалах, Олаф принял за естественный уступ, подивился только нагромождению камней на дне. Но когда увидел вторую, в двухстах шагах от первой, сомнений у него не осталось — это именно то, что заставило студентов сомневаться в обитаемости острова.

Всего искусственных горизонтальных уступов было пять, обращенных на юг и юго-юго-восток — в направлении архипелага Норланд и Кольского архипелага. Скорей всего, здесь некогда в самом деле располагалось оборудование метеослужбы: сохранились заделанные в камень стальные скобы и пластины, тускло блестящие на солнце. Олаф поискал спуск к ближайшему уступу, но не нашел: видимо, метеорологи использовали лестницу, которую сняли вместе с оборудованием. А может, и не метеорологи, — вполне возможно, это было оборудование связистов; после расширения частотных диапазонов радиосвязи свернули много их объектов. И тогда домик искать бесполезно — связисты не метеорологи, их установки работают автономно. Да и направлены они были в сторону основного скопления островов Восточной Гипербореи — значит, связисты, метеорологи смотрят в другую сторону.

Орка взлетела над океаном вертикально, свечкой, и плюхнулась обратно в волну, подняв прозрачный веер воды, сияющий по краям. Обрадовалась? Олаф не назвал бы ее крики радостными... Она снова кувыркалась в воде, разгонялась до невероятной скорости и совершала немислимые прыжки. Снова хотела что-то показать? Или... Или именно там затонул катер? Эта мысль обдала холодом, развеяла доброе от солнечного дня настроение... Представилось, как кит вытаскивает со дна мертвое человеческое тело... Да нет же, нет! Катер затонул гораздо дальше, косатка плескалась метрах в тридцати от берега. Однако кто знает, сколько еще мертвецов лежит вокруг этого островка... Островка с особым стратегическим положением — самого южного в архипелаге Эдж, самого южного из всех островов и архипелагов Шпицбергена. Не будь Планета круглой, отсюда был бы виден Большой Рассветный.

Олаф с тоской посмотрел в океан. Обычно в экспедициях он не вспоминал о доме, да и некогда ему было скучать. А тут подумалось вдруг об Ауне и девочках — даже если с катера не ушел сигнал бедствия, теперь ясно, что случилась беда. И, наверное, дочери об этом не узнают, но Ауне... Впрочем, это Инга еще маленькая, а Эльга стала совсем взрослой, она все понимает, от нее не так просто что-то скрыть. Тринадцать лет... Отправляясь в экспедиции, Олаф не испытывал чувства вины, несмотря на старания Ауне, но, возвращаясь, всегда жалел ее. Должно быть, потому, что, прощаясь, она дулась, а встречая — плакала. У нее были удивительные бирюзовые глаза. Не как небо, нет, а как настоящий самоцвет: при разном освещении казались то голубыми, то зелеными. От слез они становились прозрачными и зеленели. В последнее время он стал замечать заплаканные глаза и у старшей дочери. Помогала матери не надеяться?

Раньше Олафу не случалось думать о том, что его ждут, это как-то само собой разумелось, а теперь и согрело, и добавило тоски. Захотелось вернуться, обязательно вернуться, захотелось встречи на причале Большого Рассветного. Чтобы Инга бежала к нему со всех ног — поймать ее под мышки, подбросить вверх. Эльга по причалу уже не бегают, стесняется, стоит и ждет, но в последний миг бросается на шею: «Папка, папка! Наконец-то!» — и от ее взрослости не остается и следа. А Ауне плачет — молча плачет, незаметно сбрасывает слезы одним пальчиком, делает вид, что сердится, но прозрачные зеленые глаза ее выдают. И все равно вечером готовит котлеты из трески, которые терпеть не может, — их любит Олаф.

Орка кричала вслед так жалобно, так пронзительно... Будто он оставлял ее умирать. Скалы поднимались вверх все круче, кое-где по краю двигаться было опасно — Олаф обходил такие места по склону, теряя из виду кромку воды. Но неизменно возвращался на обрыв.

В самой высокой точке острова он обнаружил кострище, обложенное камнями с трех сторон. Огромное кострище, больше полутора метров диаметром. И, понятно, никто не стал бы на этом месте греться у огня — это был сигнальный костер, видимый с воды на много километров. В ясную погоду.

Они просили о помощи... Наломать руками дров для сигнального костра — совсем не то, что собрать дрова для махонького очага на лежке. Притащить дрова наверх — в носках, без верхней одежды! — на продуваемый всеми ветрами обрыв? Чтобы побыстрее замерзнуть, что ли? Слишком мала надежда на помощь и слишком велика вероятность умереть, шкурка не стоит выделки. Значит, другого выхода не было? Значит, без помощи — без немедленной помощи — их ждала неминуемая гибель?

Помощь не пришла.

Приступ внезапной паники не предполагает столь сложных действий, расчетов больше чем на один шаг вперед. Значит, они не только чувствовали страх, но и осознавали угрозу? А был ли приступ внезапной паники? Сигнальный костер перечеркивал все предыдущие рассуждения Олафа и оставлял лишь две самые глупые версии: сумасшедший инструктор и... цверги. Кому еще не нужно от живых ничего, кроме их жизни? Только безумцам или мстителям.

Солнце качалось на волнах долгой дорожкой, искорками вспыхивало на ребристом глянце океана, просвечивало кристально чистую воду цвета аквамарина, трогало лицо теплыми лапками... Какие цверги? Ночью, в темноте и одиночестве, детские страхи

можно заливать спиртом, но среди бела дня, на солнце, — это не детские страхи, это очевидные признаки безумия.

Березовые сучья и еловые лапы оставили следы на склоне — хвоя и обломанные веточки тянулись за ними дорожкой, — и Олаф направился вниз, в чашу. Орке это не понравилось — она душераздирающе кричала ему вслед.

Здесь спуск был гораздо круче, сапоги скользили и ничего не стоило сломать шею, оступившись. А ведь ребятам пришлось проделать этот путь не раз и не два... Да еще в состоянии гипотермии, с плохой координацией движений... Олаф вспомнил обрезанный снизу огарок свечи: вот на что пошла его половинка — на розжиг сигнального костра.

Значит, они действовали сообща? По меньшей мере те, кто разводил сигнальный костер и оборудовал лежку. Очевидно, за час такого не сделать, а значит, ни Эйрик, ни Гуннар не принимали в этом участия. Даже если предположить, что ребята поссорились и разделились, то остальным угрожала не меньшая опасность, раз они приняли решение разводить сигнальный костер. И вряд ли угрозу для них представляли Эйрик и Гуннар, скорей всего мертвые к моменту розжига костра.

Нет, шею Олаф не сломал, но, стараясь не помогать себе руками, иногда бывал недалек от такого исхода. Особенно в начале пути, после яркого солнца, — не увидел трех глубоких расщелин, расколовших скалу сверху донизу.

В лесу он не нашел ничего, кроме того, что ожидал увидеть: куцые, обглоданные елочки, торчащие обломки сучьев, а то и верхушек на кривых березках, снятую местами бересту. Снизу расщелины казались черными шрамами, отсюда не заметить их было невозможно. Тут не светило солнце — и если вдруг цверги существовали на самом деле, именно из этих глубоких холодных щелей они и выходили на поверхность...

Подниматься было легче. «Больной перед смертью потел?» Может быть, не так и долго ребята заготавливали дрова для костра. Смотря сколько времени собирались поддерживать огонь. Сколько времени могли поддерживать огонь... На ветру, даже рядом с большим костром, без укрытия, без экрана, все равно холодно. Впрочем, теплей, чем без костра...

Орка кувыркнулась над водой, увидев Олафа, изогнулась, падая, подняла сияющие брызги — как хорошо было снова увидеть солнце после сумерек в ледяной чаше! Олаф посмотрел на компас: местное время — без четверти одиннадцать утра. Спуск и подъем отняли у него не более получаса.

И теперь кровь из носу нужно было поднять два тела со скал. Попытаться найти следы сопротивления. Девушка могла не сопротивляться, но двое здоровых ребят?..

Олаф прошел по кругу до конца, заглядывая вниз, но ничего особенного не заметил. Он пытался разглядеть место лежки сверху, но так и не увидел, — плотный ельник хорошо ее маскировал. Конечно, ельник — это не только маскировка, это еще и способ сберечь тепло, но если им угрожала опасность, правильно было бы спрятать лежку получше. И ее спрятали.

Однако сигнальный костер видно чуть ли не с любой точки острова. И, пожалуй, глупо стоять у костра всем вместе — одного человека вполне достаточно, чтобы поддерживать огонь, если дрова уже заготовлены.

Цверги боятся огня...

Олаф плюнул себе под ноги — вот втемяшилось же в голову! Что от лежки, что от костра до того места, где трое упали со скал, было гораздо дальше, чем от лагеря. Может быть, они все-таки вернулись в лагерь, но там снова попали под воздействие «шепота океана»? Так быстро, что не успели одеться? Это гораздо более трезвая мысль, чем о цвергах и сумасшедшем инструкторе. Но тогда зачем они разжигали костер? Достаточно было не покидать лежку и ждать помощи. А если пробовать, испытывать судьбу — то не всем вместе.

Инструктора он так и не нашел, ни живого, ни мертвого...

После двух в общей сложности спусков со скал и подъемов обратно от пластыря на руках ничего не осталось, перчатки тоже не очень помогли. И если, спускаясь в первый раз, Олаф думал о сумасшедшем инструкторе, способном перерезать веревку бритвой, то поднимаясь во второй — уже нет.

На этот раз он все же сделал волокушу, но тянуть ее не смог, пока не догадался обмотать веревку вокруг рукава на запястье. Неудобно было, зато не так больно. И, наверное, следовало тащить их по одному, но Олаф понял, что, добравшись до времянки, не сможет проделать этот путь еще раз. В конце концов — не на себе нести...

Солнце давно село, он дошел до лагеря в полной темноте. Сил не хватило даже на то, чтобы уложить мертвецов подобающим образом. Даже на то, чтобы согреть воды (Олаф напился холодной), даже на то, чтобы перевязать руки. Чтобы растопить печку, сил тоже не хватало, но на это хватило ума.

Он не уснул, как накануне, просто лежал и смотрел на огонь. Если это был «шепот океана», то почему разбита рация? Случайность?

За несколько часов времянка остыла, камни вокруг печки так долго тепла не сохраняли — Олаф лежал под спальником и чувствовал, как по ногам тянет сквозняком.

Может быть, он стал чересчур чувствительным к холоду, — это было бы неудивительно. Но сидеть в нетопленной времянке в носках и без верхней одежды? А то и просто в нижнем белье? В присутствии девушек? В самом деле, не улеглись же они спать в три часа дня, не затопив печку.

Вряд ли цверги, пришедшие за человеческими жизнями, догадались бы разбить рацию... А сумасшедший инструктор — да, мог, конечно мог.

А что еще? Какая еще убийственная сила может найтись на маленьком необитаемом островке? Сила, в которой ребята распознали смертельную угрозу, — а не абстрактный «шепот океана», что, по сути, лишь пугает, хотя иногда пугает и до смерти... Ни варвары, ни пираты не одержимы убийствами — они грабители.

В юности Олаф почитывал допотопные боевички, хотя быстро к ним охладел. А детективов не любил и не понимал — верил, что в то время все так и было, но они все равно казались ему высосанными из пальца, надуманными. Слово «зачистка» было ему знакомо и всплыло в голове само собой. Версия зачистки по степени абсурда могла соперничать с версией о цвергах...

У Восточной Гипербореи тоже была спецслужба — СИБ, служба информационной безопасности. И, в общем-то, там не в игрушки играли — за нарушение подписки о неразглашении можно было отправиться на Каменные острова, и не на месяц-другой, на штрафные работы, а на несколько лет, если не пожизненно.

Олаф пригрелся, но не уснул — валялся и потихоньку снимал с ладоней остатки пластыря и прилипший к ссадинам клей, счищал песок.

Он сталкивался с СИБом редко — иногда с него брали подписку о неразглашении, если дело касалось пограничников или заключенных. И, пожалуй, он считал это правильным — незачем всем и каждому знать о том, где находятся склады оружия или как добывают сырье для изготовления взрывчатки. Была и другая засекреченная информация — вроде существования на Планете чумного вибриона, о чем во избежание паники тоже не следовало знать большинству. Или исследования того же «шепота океана», и даже данные о миграции гренландских акул, — некоторым довольно услышать слово «акула», чтобы вообразить их появление на плантациях ламинарии, например.

Однако логично было предполагать, что существует и другая информация — та, которая способна потрясти основы существования Восточной Гипербореи; любые государства во все времена имели подобную информацию и держали ее в секрете, это нормально. Но чем СИБ готов жертвовать ради сохранения таких тайн?

Люди выжили после потопа, потому что объединились, потому что заново научились жертвовать собой ради других, потому что подчинили свою жизнь общине — Гиперборее — человечеству. Олаф вырос с мыслью, что его жизнь имеет ценность лишь как часть целого, не будет целого — не будет и смысла.

Но... ничто не ценилось гиперборейцами так дорого, как человеческая жизнь. Никто не считался со средствами, если речь шла о человеческой жизни. И дело не в том, чего обществу стоило вырастить юношу или девушку до детородного возраста (хотя молодым балбесам любили колоть этим глаза), — жизнь бесценна сама по себе.

В ОБЖ, и особенно в СИБе, работали люди, способные взвешивать ценность человеческих жизней. И умом Олаф понимал, что это правильно, что при угрозе целому нельзя считаться с малой его частью. Но только умом. Впрочем, он был не из тех, кто лучше других знает, как управлять государством.

Нужно было поесть и перевязать руки. Минут за двадцать он немного отдохнул, но не настолько, чтобы отправиться в шатер или на берег за водой. И поспать все же стоило, но после еды.

Рулончика пластыря, лежавшего в аптечке, не хватило, чтобы закончить перевязку, пришлось искать короб с медикаментами — он нашелся с левой стороны от входа, накрытый пыльными бумажными мешками, приготовленными под собранные и переработанные водоросли. Олаф, конечно, перепачкал и чистый пластырь, и промытые ранки, — пыль оказалась едкой, возможно с примесью извести. Руки зажгло, будто их щедро посыпали красным перцем, а при попытке смыть пыль водой жжение только усилилось, перешло на тыльные стороны ладоней — ну точно так с перцем и бывает! Впрочем, как и с известью. И они собирались складывать водоросли в эти мешки?

Раны, и без того воспаленные, теперь однозначно не дали бы уснуть, Олаф едва сообразил, что надо попробовать промыть их маслом, раз не помогает вода. Масло помогло (значит, не известька), но воспаление-то осталось. Даже на тыльных сторонах ладоней кожа покраснела и припухла — чуть не эритема, — а ссаженные костяшки кулака заболели так, будто не заживали вовсе.

Обидно стало — что такими руками сделаешь? Теперь нужны повязки с чем-нибудь противовоспалительным, хотя бы наутро боль немного успокоится. Интересно, с какого химического производства им передали эти чертовы мешки?

Стоп. Эритема. На тыльных сторонах ладоней, до запястий, прикрытых манжетами рубашки. Похоже, и на руках, и на щеке у Саши остались следы той же самой едкой пыли. И тогда нужно осторожно ее собрать и потом передать химикам на экспертизу. Надо

сказать, даже в перчатках, даже с повязками на руках, не хотелось рисковать — одного раза вполне хватило. Но рискнуть пришлось.

Если эти мешки и передали с какого-нибудь химического производства, пыль бы осыпалась по дороге. Значит, она появилась позже? Уже на острове? После того, как мешки сложили на коробе с медикаментами? И кто тогда знает, где еще могла осесть такая же пыль?

Осесть?

Олаф снял бинт с безымянного пальца, ссаженного на подушечке, и провел им по стене — нет, пыль со стен осыпалась, когда они опускались и поднимались. На пористом полу искать следы пыли было бессмысленно. Когда Олаф появился во времянке, на полу стоял этот короб и поверх сапог лежали носильные вещи. Поводив пальцем по одежде, и довольно тщательно, он ничего не обнаружил. А вот на носках сапог — женских, судя по размеру, — ранку на кончике пальца снова зажгло, будто красным перцем. Олаф протер ее маслом.

Женские сапоги он не трогал, выбирал себе пару из мужских. Но сапоги были накрыты одеждой... Значит, сначала на них осела эта пыль, а одежду положили потом?

Дальнейший осмотр выявил еще два места скопления едкой пыли — на краях матраса, не тронутого Олафом, и на рюкзаке, лежащем ближе всего ко входу.

Если посреди времянки хлопнуть бумажный пакет с красным, например, перцем мелкого помола, те, кто в это время тут находятся, однозначно вынесут панель пожарного выхода... Эта пыль, конечно, не красный перец, но чем-то очень на него похожа. Способностью раздражать кожу. И слизистые тоже. Наверняка.

Но следы раздражения кожи нашлись пока только у Саши. Точечные кровоизлияния в конъюнктивы — следствие гипоксии. А вот опухшие веки... Нет, если бы остальные вдыхали эту едкую пыль, остались бы следы — и в дыхательных путях, и на слизистых. Раздражающее действие на кожу усиливается при соприкосновении с водой — возможно, у Саши были мокрые руки. А может, он находился ближе всех к источнику... И аллергический отек гортани как реакция на раздражающее вещество — случай не редкий.

Лучше бы об этом думал следователь. Хотя... Вряд ли кто-нибудь из следователей ОБЖ знает химию лучше Олафа. Если бы под действие едкой пыли попали все, они бы бежали вниз по склону, они бы плевались, кашляли и лили слезы где-нибудь возле времянки — ветер мгновенно сдул бы любую рассеянную в воздухе пыль. Возможно, они бы пытались промыть глаза водой.

Провести следственный эксперимент? Дунуть и вдохнуть? На бумажном мешке пыли пока оставалось достаточно, аллергией Олаф не страдал... Не очень-то хотелось промывать маслом глаза и носоглотку, и он решил повременить со столь радикальным способом установления истины.

Над океаном вставала мрачная, багровая луна, северный ветер бился в южные скалы, надрывно плакала орка, словно предвещала беду... Словно умоляла вернуться в лагерь — к свету, к огню... Остров казался огромным кораблем, но не плывущим на юг, а севшим кормой в воду, задравшим нос. Олаф стоял в самой высокой его точке, над кострищем, и всматривался в темноту ледяной чаши. Он не мог различить — только угадывал — глубокие черные провалы трещин в скале и ощущал шедший оттуда тлетворный холодок. Холодок вился в воздухе, неподвластный ветру, поднимался все выше — подползал к ногам. И хотелось отступить, но отступить было некуда. Холодок тугими струйками опутал колени, взял за запястья... Не шевельнуться. Словно связал по рукам и ногам. Нет. Не связал — заморозил. От холода муторно ныли суставы на ногах и до слез ломило руки. Не шевельнуться.

Они появились из черноты глубоких трещин, из мертвого мерзлого камня. Безликие, безмолвные, цверги не двигались в человеческом понимании — но приближались. Они смотрели, и под их взглядами становилось все холодней. Смерть не предлагала поединка, не оставляла возможности даже встретить ее с достоинством — ватный страх, коллапс и паралич.

Сдвинуться с места! Любой ценой! Шевельнуть хотя бы мизинцем! Беспомощность. Нет на свете ничего страшней беспомощности, ни в чем нет большего отчаянья... Не закрыть глаза, не сжать кулаки, не выдавить даже шепота из глотки. Они все ближе, их уродливые тени со всех сторон. У них тупые человеческие зубы, они будут долго смаковать живую плоть. Лучше шагнуть назад, в пропасть, — любой ценой сделать шаг в пропасть! Всякий поединок со смертью — это поединок с самим собой. Один шаг! Ну же! Всего один шаг! Собрать волю в кулак и шевельнуться!

По телу прошла дрожь напряжения, обмякшие мышцы дернулись судорожно, и Олаф проснулся.

Печка остыла, через незакрытую вьюшку тянуло холодком. Пела орка. Хорошо поспал, да. Часа три, не меньше. А то и четыре — камни были чуть теплые. Руки на удивление болели не так сильно, как ожидалось. Только сердце колотилось бешено, кошмар отпускал не сразу, но не страшно было, а тревожно.

Олаф прикрыл выюшку и прислушался. Они разожгли сигнальный костер, потому что осознавали реальность опасности. Один из них покинул времянку в теплой одежде, и его Олаф пока не нашел. Едкий порошок осел на бумажных мешках. Гуннар получил двойной удар ботинком по глубокому малоберцовому нерву, удар по плавающим ребрам и упал затылком на камень. Три человека, которым не грозила холодовая смерть, разбились о скалы. Вряд ли при таком раскладе поможет нож, что охотничий, что секционный.

Во времянке нельзя запереться, как и в шатре под ветряком. И если от сумасшедшего инструктора можно спрятаться в каком-нибудь темном, укромном местечке, то от цвергов не спрячешься — они чувят человеческое тепло.

Олаф тряхнул головой. Очень хотелось выпить. Для храбрости. От одиночества. И тогда глупые навязчивые мысли можно будет списать на состояние опьянения.

Пятьдесят граммов спирта помогли не только выйти из времянки и принести воды — позволили без трепета взглянуть в лицо Холдора. В отсутствующее лицо. Олаф начал именно с него, пока не выветрился хмель, — он видел тела, изуродованные и пострашней, но здесь не госпиталь ОБЖ, не чистая светлая секционная, здесь нет помощников-санитаров, он один на десятки, а то и сотни километров. Вокруг глубокая черная ночь и семь мертвых тел рядом, под одной с ним тонкой уроспоровой крышей.

Может быть, шаги вокруг шатра ему только мерещились?

Должно быть, при падении телá задевали ступени и уступы , потому притормаживали. Высота огромная, камни — не мягкое земляное поле, в таких случаях тела, бывает, разрываются, мозги разлетаются по сторонам... Так что ни о каком ускорении речи не было — даже если и подтолкнули, то по повреждениям этого не определить. Не со второго этажа прыгали — в таком полете тело не один раз успеет перевернуться, так что и тут нет никакой информации, даже неясно, лицом вперед падали или спиной. После утопления и холодовой смерти падения с большой высоты занимали в практике Олафа третье место по частоте — не то что отек гортани. И их он особенно не любил. Он мог отличить прижизненные переломы от предсмертных и посмертных (иногда не без труда), но в большинстве случаев падение на скалы покрывало все прочие повреждения. И при ясной, в общем-то, причине смерти ничего больше сказать было нельзя. А следователи знать хотели.

Теперь Олаф и сам хотел знать.

Пуговицы застряли в осколках грудины, вместе с разбитой двояковыпуклой линзой в тяжелой литой оправе, понятно, сделанной на Металлическом заводе. Валяная фуфайка.

Теплая вещь, ветром продувается, но не так, как вязаный свитер. Для легкого морозца Холдор был одет довольно неплохо. Снизу полегче, но все равно вполне достаточно, чтобы не замерзнуть ни на дне чаши, ни на ветру. Если не уснуть на камнях, конечно. Одежда спереди обильно опачкана запекшейся кровью. Олаф почесал затылок кончиком карандаша — наверное, так и стоило записать, иначе перечень кровавых пятен с локализацией и размером растянется на несколько страниц. Три пары носков, на верхних вытерты подошвы. А вот этого маловато для ходьбы по ледяному камню.

На ладонях характерные осаднения — заготавливал дрова и ломал лапник. Под левой лопаткой — локализованный кровоподтек шесть с половиной на четыре сантиметра, без осаднения кожи. Получен незадолго до смерти, судя по всему.

По форме синяка ничего точно не скажешь, но вот как такой заработать самостоятельно? На катере еще можно опрокинуться на какой-нибудь выступ или угол, а здесь? Упасть на выступающий камень спиной? Вероятность ненулевая, конечно... Но больше похоже, что парня ударили по спине тупым предметом небольшой площади.

Ступни сбиты, но следов отморожения нет. Ломали лапник и березовые сучья, делали лежку в ельнике, таскали дрова на самый верх южных скал, складывали очаг — и на скалах, и на лежке. И все это в носках? Даже три пары не помогут, на дне чаши земля заморожена, кругом камень. Понятно, что ноги в этой ситуации пострадают раньше всего. Уж какие-нибудь чуни можно было изобразить...

От сильного удара обувь слетает, да. Но не сапоги, не ботинки на шнуровке. Чуни тоже на ноге крепят хорошенько, хотя... Ну могли слететь, могли. Со всех троих? Возможно, конечно. Между камней провалились — не найдешь, даже если в воду не упали. В самом деле, не разулись же они, прежде чем прыгнуть с обрыва.

Речь не шла о том, как Холдор будет выглядеть во время похорон, — хоронить однозначно будут в закрытом гробу. На этот раз смерть постаралась на славу...

Пилить ножовкой череп, состоящий из мелких осколков, — это глумление над трупом. И над танатологом. Олаф пробовал обойтись ножом и отверткой, но затылочные кости только растрескались, пилить все же пришлось. И понятно было, что не на что там смотреть, извлеченные остатки сплюсненного ударом мозга ничего не добавят к диагнозу, — но Олаф оставил свою совесть чистой и сделал как положено.

В общем-то, и описание переломов (прижизненных) к диагнозу ничего не добавило, и повреждения внутренних органов вполне соответствовали падению на камень с высоты в сто пятьдесят метров примерно. Перелом шейных позвонков, разрыв межпозвонкового

диска с полным отрывом спинного мозга — тут Олаф обошелся отверткой и обушком топора.

Последний прием пищи — за двенадцать-четырнадцать часов до смерти. Как у Сигни. Смерть, понятно, была мгновенной.

Провозился Олаф долго, хмель, конечно, выветрился. А нужно было сходить за водой еще раз и вынести кастрюлю с нечистотами — глаза чуть не слезились. Фляга лежала за пазухой, и он подумал, что глотнуть спирта еще раз — это увеличение дозы и начинание недоброе, но не смог удержаться. Дал себе слово, что в третий раз точно к фляге не приложится.

Спирт обладал волшебной силой — сразу перестали мерещиться шаги вокруг шатра, не говоря о приподнявшемся настроении. Даже кураж появился — кто на меня?

Олаф выбрался из шатра, что-то нарочито насвистывая, и, оглядевшись по сторонам, громко спросил:

— Ну? И где же цверги? А? Кому кастрюльку на голову?

И тут же понял, что не стоило этого говорить. Вообще произносить вслух слова «цверги». Суеверная Ауне пугалась в таких случаях, шикала на него. Олаф не был суеверным (во всяком случае, старался найти какое-то «научное» объяснение своим суевериям), но тут ничего научного в голову не пришло. Просто — не стоило. Не буди лихо, пока оно тихо. Вспомнился холодок, истекавший из трещин в скалах, представились обращенные на него взгляды из темноты...

Далекий грохот прибоа мешал прислушаться. Так же как гул генератора и шорох лопастей ветряка.

Они разожгли сигнальный костер. Кто-то ударил Холдора по спине, а Гуннара по ноге и под ребра. Они мертвы — семь человек мертвы! — и незачем дразнить того, кто их убил. Кем бы (или чем бы?) оно ни было. Вот такое получилось «научное» объяснение... Обе руки были заняты кастрюлей, а хотелось потянуться за ножом. Но не выливать же это — это! — себе под ноги... И нож, наверное, не поможет: семь человек, пятеро здоровых ребят не смогли справиться со своим убийцей (убийцами?). Олаф с тоской подумал о «шепоте океана» — какая безобидная была версия. Удобная. Простая.

С Лори возиться пришлось еще дольше. У него были открыты глаза (склеры беловато-серые с пятнами Ларше, роговицы тускловаты, зрачки диаметром по три миллиметра). Карие глаза необычной формы. Да, он тоже собирал лапник и дрова. У него тоже были сбиты ступни и тоже не было признаков отморожения пальцев на ногах.

Свитер немного уступал валяной телогрейке Холдора, но никаких признаков холодовой травмы не обнаружилось. Однако на груди Лори Олаф заметил несколько глубоких точечных ссадинок и не сразу догадался, что они парные. Только потом сообразил, что у Гуннара под лопаткой нашел такие же. Еще подумал почему-то про змею.

А ведь он видел нечто подобное. Не такое же — чем-то напоминающее. Только где и когда? Не стоило пить, проще было бы вспомнить. Очень важно было вспомнить.

Позвоночник переломился в четырех местах, и удивительно было, как при таком падении (спиной на острие камня) голова не оторвалась от тела. В отличие от позвоночника, пилить череп не пришлось, довольно было отделить от костей мягкие ткани и разобрать мозаику осколков.

Смерть наступила через двенадцать-четырнадцать часов после последнего приема пищи, как у Холдора и Сигни. И понятно, что это был не ужин, а завтрак.

Лицевые кости черепа сохранили форму, и Олаф постарался придать телу приличный вид — если подложить под голову мягкую подушку, повреждения затылка не будут заметны. На это тоже ушло немало времени, за которое он попытался еще раз прокрутить в голове версию «шепота океана» и найти в ней противоречия.

Ни одно из повреждений, которые можно считать насильственными, не привели к смерти. Даже близко к смертельным не стояли. И если их отбросить, оставалось только одно противоречие: костер. Сигнальный костер в самой высокой точке острова, обращенный в сторону судоходных путей. Почему, собственно, они не могли просить о помощи, попав под воздействие «шепота океана»? Едкая пыль на бумажных мешках? Это тоже ничего не доказывает и не опровергает. Лишь вызывает подозрения.

Хмель давно выветрился, Олафу казалось, что он мыслит ясно и логично. И даже понимал, что очень хочет за уши притянуть версию «шепота океана» к фактам.

Приступ внезапной паники — бегство на дно чаши — попытка достать спички и одежду — лежка в ельнике — сигнальный костер — еще одна попытка вернуться в лагерь — снова паника и падение со скал... Приступ панического страха вызвал у Саши отек гортани (?), Эйрик и Гуннар замерзли на северном склоне, пытаясь достать спички и одежду. Лизу оставили поддерживать огонь на лежке, чтобы в случае неудачной попытки возвращения в лагерь осталось место для ночевки. Но она предпочла показывать дорогу Эйрику и Гуннару. Возможно? А что делал в это время инструктор? Антон из Коло? В рюкзаке которого отсутствовала бритва?

Бритва Оккама. Из всех непротиворечивых версий надо выбирать простейшую. Интересно, какая из них простейшая? Пожалуй, про цвергов. Вышли из камня, высосали тепло... И любой факт можно подтянуть под их колдовство и неясные человеку цели.

Олаф вымыл руки и сел писать протокол вскрытия. Не хотелось выходить из шатра. Очень не хотелось. Будто в самом деле за кромкой света прятались уродливые низкорослые фигуры цвергов. Но он помнил о данном самому себе слове больше к фляге не прикладываться — смешно ведь, не ребенок, не женщина, чтобы сходить с ума от детских страшилок...

Орка снова затянула свою унылую, отчаянную песню... Вот так собака воет по покойнику: хочешь не хочешь, а пробирает дрожь. Их семеро здесь — покойников. Не хватает только восьмого, живого или мертвого... И кто-то же ходит там, вокруг шатра, живой или мертвый... Когда Олаф слышал характерный стук камней снаружи, то не сомневался, что это чьи-то шаги. Когда проходило немного времени — не сомневался, что шаги ему померещились.

Протокол он писал излишне тщательно. Есть хотелось и спать. Руки болели. Сильно, — надо было промыть хорошенько и перевязать. Глупо прятаться за уроспоровыми стенами. И вообще глупо. Даже смелости набираться, прежде чем выйти наружу, глупо. Смешно.

Олаф подхватил кастрюлю за обе ручки и подумал, что надо привязать к ним веревку, чтобы носить ее в одной руке. Потому что так удобней, а вовсе не для того, чтобы другую руку держать на рукояти ножа! Но ручки толстые и гладкие, а веревка будет резать ладонь.

Вышел наружу, стараясь не задерживаться на входе. Ради самоуважения.

Он (восьмой, Антон из Коло) деликатно сидел поодаль, за пределами светового пятна. Лицом на юго-юго-восток, будто в ожидании катера. Слушал космическую песню косатки. Олаф замер и едва не выронил кастрюлю под ноги — колени, и без того нывшие от усталости, дрогнули; со лба в глаз скатилась едкая капля пота... Потянуться к ножнам? Руки заняты.

Это от одиночества. От переутомления. От боли. От невыносимых звуков, издаваемых оркой под ритмичный грохот мертвой зыби...

Олаф поставил кастрюлю на землю и сделал шаг вперед. Может, морок рассеется, если подойти поближе? Его учили различать страх и ощущение опасности. Его учили идти навстречу своим страхам.

Морок не рассеялся, и Олаф сел на соседний с ним камень. Может ли спирт в столь незначительном количестве вызвать делирий? Вряд ли. Но в сочетании с переутомлением... Или «шепот океана» — это не только беспричинная паника? Написано же в книжке — не только.

Инструктор был одет в расстегнутую на груди пуховую парку и высокие ботинки с заправленными в них кальсонами. Под паркой виднелась соответствующая кальсонам нижняя рубаша. Это игра воображения, тайная (и опасная) надежда на то, что версия о сумасшедшем инструкторе ошибочна!

— На юге штормит сильно, — сказал морок. — Катера в ближайшие дни не жди.

У него были выдавлены глаза, и на щеках запеклась кровь — будто слезы. Размозженные губы, зияющий провал беззубого рта со сгустками крови внутри — он умер вскоре после сокрушительного удара по губам (не успел ни сплюнуть, ни сглотнуть кровь), но не раньше. Вряд ли такой удар можно нанести кулаком — орудие с твердой поверхностью и четким краем, овальное, примерно семнадцать на шесть. Скорей всего, ударили сверху вниз, лежащего. Сине-багровые распухшие пальцы на обеих руках — предположительно раздробленные. Прижизненно.

— Извини, — пробормотал Олаф.

Морок пожал плечами.

— Где тебя искать? — осмелился спросить Олаф.

— Там, — морок кивнул на юго-юго-восток и медленно поднялся, повернул налево.

Огнестрельное ранение левого колена, возможно выстрелом в упор, штанина залита кровью. Вдавленный перелом височной кости, причинен предположительно тем же орудием с овальной поверхностью. Вероятно, смертельный.

Морок шел, подволакивая левую ногу. Неспешно, расправив плечи. И вовсе не на юг, а вниз, на северо-восток. Огнестрельное ранение не было сквозным.

Три пары непромокаемых таллофитовых брюк и четыре пары уроспоровых — итого семь. Анорак уроспоровый один, четыре таллофитовые пропитки и две уроспоровые штормовки — итого семь. И восьмой комплект — на Сигни. Шел снег (мокрый?), в любом случае дул ветер. И логично было выйти из времянки не только в промокаемой парке, но и в штормовке поверх нее. И надеть уроспоровые штаны. Олаф сам ходил в уроспоровых штанах, о чем не пожалел ни разу.

Не было никакого сумасшедшего инструктора, не было! Потому что штормовку он отдал Сигни. Он один был одет и обут, его не было во времянке, когда раздетые студенты

ее покидали. И, возможно, он не сразу нашел их в темноте, не сразу понял, что с ними произошло. Тогда ясно, почему сначала они не могли разжечь огонь, а потом нашлись и спички, и огарок свечи. Ясно, почему двое самых старших ребят отправились на северный склон, — без огня их ждала смерть от холода на дне ледяной чаши, с ними не было инструктора.

Прежде чем поужинать, Олаф разобрал вещи и составил их точную опись. И, пожалуй, примирился с мыслью о собственном сумасшествии.

Ему снилась Сампа, берег озера Рог, летний вечер и теплое дыхание океана над ржаным полем. И Ауне, совсем девочка, босиком шедшая по мокрому песку. Олаф смотрел на ее следы рядом со своими — такие маленькие! И шаг узкий по сравнению с его шагами.

Во сне он видел ее издали, и тяжелое красное солнце слепило ему глаза. Это был прекрасный сон: розовая с золотом рожь, по которой бегут пологие волны, чистая бирюза небес, блестящая серебром гладь воды, тень Синего утеса на воде... И Ауне. Олаф знал, что это сон, и твердил про себя: только бы не проснуться, только бы не проснуться... Он не сразу заметил темную низкорослую фигуру в тени утеса — цверг не прятался, но был почти невидим на фоне сине-серого камня. Олаф тряхнул головой, проморгался — и увидел еще одну фигуру. И еще, и еще! Они стояли неподвижно и ждали, когда Ауне приблизится к утесу.

Он кричал, чтобы она остановилась! Она не видела цвергов и не слышала криков Олафа. Он бежал за ней со всех ног, но не приближался ни на шаг! Солнце ушло за черные снеговые тучи, стемнело, на озере поднялась шквальная волна. Катер шел к Синему утесу, выжимая из двигателя все свои жалкие двенадцать узлов, но Синий утес не приближался, и в темноте, за пеленой мокрой снежной пыли, уже не видно было Ауне... Нет, это был не Синий утес — южные скалы Гагачьего острова. А на самой их вершине горел сигнальный костер, видимый даже сквозь снежную пелену.

За воем ветра не слышно было стрекота мотора, катер бросало с волны на волну, он то зарывался в воду, то взлетал носом к небу, чтобы плюхнуться брюхом в провал между волн, высоко поднимая соленую пыль, то заваливался на бок, черпая бортом ледяную воду. Он шел на помощь... Вокруг, держась за поручни, стояли ребята из спасательной экспедиции, капитан и рулевой в блестящих плащах, и все как один смотрели на сигнальный костер. И снова Олаф кричал, что надо поворачивать, что костер — это сигнал опасности, а не бедствия, но ребята словно не слышали его. Он смотрел в их лица и видел

мертвые невидящие глаза, рыхлую синеватую кожу, бледные пальцы, сжимавшие поручни... Они поднялись (бы) со дна океана, чтобы прийти до Гагачьего...

Как только стало светать, Олаф направился вниз по северному склону, на северо-восток, стараясь не думать о том, почему выбрал именно это направление.

Орка заметила его издали: зачирикала, затрещала, кувыркнулась — обрадовалась? Олаф помахал ей рукой.

Там, докуда доставали *Большие волны*, не росло ни мха, ни даже лишайника; широкая граница была хорошо заметна издали, ниже нее склон становился более пологим, горизонт приближался — Олаф поглядывал на него с опаской, но не более. Не скалы, можно успеть подняться. Да и орка резвилась неподалеку от берега.

Мертвое тело трепал прибой, Олаф заметил это, не дойдя метров двухсот до воды, и ускорил шаг. Тяжелые волны то швыряли мертвеца на гальку, то затягивали обратно в разверстые свои пасти. Вряд ли он оказался в воде именно на этом месте — скорее всего, был сброшен с отвесной стены, а значит океан протащил тело вдоль скал и бил его об эти скалы... В таких случаях более всего страдает голова покойника, и потом за множественными посмертными повреждениями можно не заметить прижизненных.

Температура воды едва ли была выше двух градусов, гниение не могло начаться так быстро, чтобы тело поднялось на поверхность, — зимой для этого нужно несколько недель, а не дней. Причудливые придонные течения вокруг острова? Все возможно, Олаф видел и не такое, но обычно волнами выбрасывало на берег всплывшие тела.

Сверху пологие и ленивые волны мертвой зыби не казались страшными, но, подойдя к полосе прибоя вплотную, Олаф оценил их высоту в полной мере. А еще — расстояние от сухих камней до тела, которое предстояло достать. И глубину пенной воды вокруг него. И силу, с которой эта вода крутит гальку... Правильней было бы раздеться совсем, чтобы, выбравшись на берег, одеться в сухое. Но удержаться на ногах босиком почти невозможно — понятно, с какой силой пенная вода устремляется обратно в океан...

Олаф пошел на компромисс: разделся, но оставил на ногах сапоги.

Холод опасен только тогда, когда он долгий, окунуться в ледяную воду — это здоровью не вредит, а бывает только полезно. И намочить в соленой воде повязки на руках тоже неплохо, морская вода способствует заживлению ран. Преимущество мертвой зыби по сравнению со штормовой волной — волны редкие и почти одинаковые... Множество очевидных плюсов никак не перевешивало ощущения опасности. Или все же страха перед ней?

Если бы Олаф был не один, он бы обвязался веревкой... Но веревки он с собой не взял, как и багра, а подниматься в лагерь не рискнул — тело как принесло к берегу, так и унесет.

Грохот прибоя более всего напоминал грозовые раскаты. Волны дыбились, дойдя до мелководья, вздымались на высоту в четыре человеческих роста, пенились на гребнях и падали в гальку; будто от взрыва разлетались брызги, вода клубилась водоворотами, гремела поднятыми камнями... Стоя нагишом перед океаном, особенно хорошо ощущаешь его мощь и собственную малость. Волны только примерно одинаковые, и там, куда одна докатывается еле-еле, следующая поднимает пену человеку по грудь, а то и выше. Планета помогает сильным и не забывает эту силу испытать...

Окунуться в ледяную воду, может, и не вредно, но окатиться ледяной водой на морозе, да еще и много раз кряду... Сначала было горячо до боли, до остановки дыхания. Потом — до боли холодно. Ладони загло с солью, едва намокли повязки, а потом ломило так, будто соль насквозь прогрызла кости. Олаф думал, что сможет добраться до тела довольно скоро, — нет, волны то толкали назад, то тянули за собой в океан, и приходилось останавливаться. Камни оббивали ноги то с одной стороны, то с другой, уплывали из-под сапог, брызги обливали голову и били в лицо. Мертвое тело то приближалось, то отдалялось, становясь недосягаемым. А когда Олаф ухватился-таки за мокрую изорванную парку — оказалось неожиданно тяжелым и едва не выскользнуло из куртки. Отступать на берег было еще трудней, чем идти волнам навстречу...

Олаф старался растереться побыстрее, но движения замедлились и стали неловкими, да еще появилась дрожь, крупная и неконтролируемая. Здоровый организм быстро включает адаптационные механизмы...

Лето. Нужно было вспомнить лето, то самое, когда он возил Ауне в Маточкин Шар...

Гонки на белухах посмотреть удалось только издали — пока Олаф добывал билеты в театр, на набережной не осталось места. Но, пожалуй, издали это зрелище было еще красивей: легкие лодочки, в которые впрягали белоснежных дельфинов, задумывались похожими на древнегреческие колесницы, и само соревнование вроде бы соответствовало правилам первых Олимпиад.

Зато Олаф поучаствовал в соревнованиях по плаванию (туда брали всех), и даже вышел в четвертьфинал, обойдя по времени не меньше сотни соперников. Понятно, нашлись пловцы получше — Олаф и не рассчитывал на большее. Он боялся, что Ауне не

поймет, посчитает это поражением, но она так радовалась, так восхищалась... Они шли по опустевшей набережной, она заглядывала ему в глаза, а он никак не осмеливался обнять ее за плечо — держал за руку.

— О, гляди-ка, ноги! — раздалось за спиной. Нехорошо, развязно. И Олаф почему-то сразу догадался, о чем идет речь. Наверное, потому, что сам думал о ногах Ауне слишком часто. А может, потому, что на Большом Рассветном, в компании друзей-студентов, мог ляпнуть что-нибудь подобное вслед девушке в короткой юбке. Безо всякого желания оскорбить — чтобы показаться старше, опытней, прикрыть застенчивость...

— Ноги как ноги... — послышался ответ. И неизвестно, какая из двух реплик задела Олафа сильнее.

Он повернулся резко, на пятках, выпустив руку Ауне.

— Я не понял...

Ребят было трое, примерно его ровесников, и они тоже остановились, глядя на Олафа оценивающе, с любопытством.

— Объяснить? — спросил тот, что стоял в центре, чернявый и узколицый. Это он, похоже, сказал «ноги как ноги».

— Лучше помолчи, — ответил Олаф. Способностей к миротворчеству он от отца не унаследовал.

— А вот рот мне затыкать не надо, — поморщился чернявый. — Если девушка не хочет, чтобы ее ноги обсуждали встречные, она надевает платье подлинней.

— У нас в общине при виде ног слюни не пускают. Эллины вообще летом ходили голыми, и что?

— Что что? Устраивали вакханалии. У вас в общине тоже свальный грех в ходу?

— Вакханалии устраивали римляне, у эллинов это называлось дионисиями, — усмехнулся Олаф. — И если ты еще слово скажешь, про мою общину или девушку, то сильно пожалеешь.

— Это вряд ли. Говорить я буду то, что считаю нужным.

— Тогда сочти нужным извиниться перед девушкой и можешь идти дальше.

— Оле... — Ауне робко тронула его за руку, но Олаф не обратил на нее внимания.

Понимал, что полез в бутылку на ровном месте, но внутри все кипело: будет этот городской позер учить Ауне, какой длины платья ей надевать! С намеком на ее бесстыдство!

— Тебя забыл спросить, могу я идти дальше или нет. — Чернявый двинулся вперед, на Олафа, и Олаф тоже шагнул ему навстречу. И первым отпихнул противника назад, легким толчком в грудь обеими руками. Тут же получил по рукам и в зубы. Ну и покатилось...

Их разнимали взрослые (и, надо сказать, это было непросто), растаскивали по сторонам, держали за руки. Посмеивались: что за праздник без драки? Потом появились дружинники в форме — те не смеялись, записали имена, пообещали Олафу отправить «телегу» и в общину, и в университет, а чернявому — и в общину, и в мореходное училище. И если Матти к драке отнесся спокойно, то в университете у Олафа потом были неприятности.

Он еще не остыл, дышал неровно, не чувствовал боли, внутри еще клокотало что-то — не злость, скорей возбуждение. А Ауне держала его за руку и поглаживала локоть другой рукой — хотела успокоить?

— У тебя кровь идет... Тебе не больно?

Олаф помотал головой, тронул пальцем ссадину на скуле — ерунда, конечно, но глаз заплывет... На костяшке кулака посерьезней проблема — порвал о чужие зубы. Должно быть, Ауне об этом, в самом деле кровь капает. В углу рта еще кровь, тоже небось распухнет... Челюсть плохо шевелится.

— Ты не прижимай к себе руку, штаны закапаешь. Надо бинт где-то достать.

Ауне вытащила из кармана мятый платок, встряхнула, подержала в руке.

— Я боюсь...

— Не бойся, — хмыкнул Олаф.

Она так трогательно дула ему на ранку, так осторожно промокала ее платком! Ему почему-то не пришло в голову сделать это самому. Ауне поднимала на Олафа испуганные глаза, голубые-голубые на солнце. И сказала вдруг:

— Не волнуйся, я больше в таком коротком платье никуда не поеду.

— Ты чего? Обалдела? Даже думать забудь! — злость на чернявого снова вскипела внутри, Олаф посмотрел по сторонам: не видно ли этого гада поблизости? — Мне нравится, понятно? А что разные недоумки будут говорить — это их не касается!

— Тебе правда нравится? — она порозовела, облизнула губы от смущения.

— Правда... — Олаф тоже смутился вдруг. И уже собирался малодушно отвести взгляд, сделать вид, что так и надо... На набережной почти никого не было, праздник переместился к центру города... Только перепачканная кровью рука мешала. Олаф давно собирался это сделать, он целый месяц думал, как это сделает... Если не сейчас, то когда

еще? Вот сейчас, когда она подняла лицо и смотрит в глаза... Прыгнуть с Синего утеса было проще.

Он обнял ее неловко, левой рукой, и поцеловал. Кто-то прошел мимо со словами: «Ох, бесстыжие...», но Олаф пропустил замечание мимо ушей.

По-настоящему он полюбил ее потом, уже после свадьбы.

Они едва не остались без обеда — опоздали в столовую для гостей, — но случайно набрали на маленькое кафе общины рыбоводов, где их накормили восхитительной жареной нельмой, специально для Ауны испекли яблоки в патоке, дали с собой пирогов с рыбой, картошкой и малиной. Передавали привет рыбоводам Озерного. И звали ночевать, если в порту не хватит гостевых комнат.

После обеда они катались на белухах (к Озерному приплывали только дикие белухи, и это развлечение было Ауны, да и Олафу, внове), потом ходили смотреть на прикормленных неподалеку от города медведей — очень издалека и прочтя назидательный плакат ОБЖ о недопустимости подобного безответственного отношения к диким животным в других местах. Чуть не опоздали в театр и бежали туда бегом...

Он собирался сказать, что любит ее, как только они вернутся в Сампу. Перед статуей Планеты. Ну, не просто так поболтать языком, а чтобы на полном серьезе. Если не хочешь прилюдно — можно в присутствии Планеты. Он уже точно знал, что женится на ней, — во всяком случае, тогда ему этого очень хотелось.

Наверное, это был самый счастливый день в его жизни. Теперь так казалось.

Олаф думал, что, подняв тело вверх, немедленно кинется разводить огонь в печке и греться, греться, греться... Но вспотел уже на середине пути. Из парки вышла неплохая волокуша, и тащить ее было легче, чем нести мертвеца на плече, — если бы не просоленные повязки на ладонях.

От мертвого лица почти ничего не осталось... Теперь трудно было сказать, работа ли это волн и гальки или результат падения на скалы. И невозможно определить, выбиты зубы прикладом или морем. Но... пальцы раздроблены прижизненно. И огнестрельное ранение колена океану смыть не удалось.

Пора было посмотреть правде в глаза: на работу подсознания вчерашний морок списать невозможно. Тонкие импульсы, испускаемые мертвыми? Как-то не слишком тонко — грубо, в лоб. И не фантазии ведь, не эфемерные чувства, — конкретная и очень нужная информация. И часть этой информации получить другим путем нельзя: следов

твердой овальной поверхности семнадцать на шесть океан на теле не оставил, равно как крови во рту; соленая вода деформировала глазные яблоки...

Почему он показал на юго-восток? Зачем обманул? А впрочем, почему обманул? Морок дал два направления: в одну сторону кивнул, в другую ушел.

И орка вчера кувыркалась именно там... Возле рукотворных каменных ступеней — то ли метеорологов, то ли связистов. Звала спуститься... Некоторые верят в разумность косаток. Даже некоторые биологи. Это от одиночества — одиночества нового человечества. Если не в космосе найти братьев по разуму, не в сказочном городе на дне океана, то хотя бы в рыбьем обличье...

Олаф не смог вспомнить точно, но... все видения, которые ему являлись, все странные сны сопровождало пение орки. Ничем не лучше была книжная версия о шепоте океана и его разуме планетарного масштаба... А от нее не так далеко оставалось до твердой веры в сказочное божество — Планету, которая не только помогает сильным, но и посылает своим избранникам информацию. Если ты говоришь с богом — это молитва, если бог говорит с тобой — шизофрения.

Но ведь собака зовет хозяина к обнаруженной дохлой крысе... Да, однако не посылает хозяину видений о телесных повреждениях крысы.

Отправляясь на юг, Олаф взял с собой и ледоруб, и блоки, и скальные крючья, и новый моток веревки. Переобулся. Снял с ладоней промокшие соленые бинты и залепил раны пластырем.

Над рукотворными ступенями нависали скалы с отрицательным уклоном, высотой метров в пятнадцать, может чуть больше. Олаф спускался по веревке, со страховкой, — почти безопасно. А на середине пути под сапогом вместо шершавого камня громыхнул лист железа...

Да, вблизи железные ворота трудно было принять за камень, но раскрашены они были так, что с воды их бы никто не заметил. Зачем?

Пещеру в скале, прикрытую воротами, наверняка прорубали динамитом. Ворота запирались затейливым засовом — Олаф не сразу разобрался, как его отодвинуть. Солнце осветило пещеру до самого дна, и там, установленный на широкие рельсы, стоял радар. Это была сложная конструкция, Олаф никогда таких не видел. Равно как не встречал и таких мощных аккумуляторов. Зачем? Довольно стационарного ветряка над южными скалами, и энергии хватит с лихвой. Впрочем, Олаф в этом совершенно не разбирался.

Очевидно, и радар, и аккумуляторы были выключены. А рельсы позволяли выкатить радар на ступень перед пещерой — возможно, на это хватило бы сил одного человека, Олаф не стал проверять и вынимать клинья из-под колес. Он же видел, видел еще вчера, блестящие, а не поржавевшие от времени скобы и пластины, заделанные в камень! Почему же сразу не догадался, что это место вовсе не заброшено?

На соседнюю ступень вела вырубленная в скале тропа, широкая и удобная, там в глубине точно такой же пещеры стоял точно такой же радар с аккумулятором. А с центральной ступени вниз вела кругая лестница, тоже вырубленная в камнях.

Пять радаров, направленных в сторону наиболее населенных островов Восточной Гипербореи... С самой южной точки архипелага Эдж.

Неожиданно вспомнилось, на что похожи парные миллиметровые ссадинки на телах Гуннара и Лори, — на следы, оставленные электрошокером, которые Олаф видел на Каменных островах. Да, только похожи, — у охраны Каменных островов шокеры имели меньшее расстояние между контактами и ожог был выражен ярче. Визуально — почти никакого сходства, сходство скорей принципиальное, потому и не вспомнилось сразу.

Версия была еще отвратительней, еще страшней, чем подозрения в драке из-за одежды или предположение о сумасшествии инструктора. Еще невероятней, чем нашествие цвергов...

Военная тайна. Зачистка. И осуществить ее мог только могущественный СИБ, потому что больше некому. У кого еще есть огнестрельное оружие (не считая охотников)? У кого еще найдется электрошокер? Вещь непростая, не на серийном производстве сделанная. Кто может применить слезоточивый газ? Такие штуки имеются только в распоряжении пограничников, а СИБ, как известно, тоже отдает им приказы в случае надобности. Кто догадается замаскировать убийство под природное явление? Кто владеет боевыми приемами — не для потешного состязания, а для смертельного поединка? И кто, наконец, может свободно подойти к острову и убраться с него до появления спасательных катеров...

На эту версию все известные Олафу факты легли безоговорочно. Бритва Оккама: версия объясняла все загадки с поразительной простотой.

Вещество, оставившее едкую пыль во времянке, более всего похоже на новейший слезоточивый газ — в отличие от перца, он действует недолго и не оставляет следов раздражения. Саша умер раньше всех, не вполне оправившись от воздействия газа. И, конечно, газ мог вызвать аллергический отек.

Гуннар, очевидно, сопротивлялся, да так, что к удару шокером пришлось добавить болевые приемы... Лори, видимо, сопротивлялся тоже. Холдора толкали в спину. Тем же предметом, которым убили Антона — прикладом. Расстегнутые пуговицы на рубашке Эйрика — обыскивали тело. Сожженная бумага на лежке — искали и нашли записку. Возможно, не одну.

Сложенная у входа одежда. Вряд ли студенты разделись в холодной времянке. Угрожая оружием, нетрудно было заставить ребят раздеться и отправить на дно чаши, на мерзлоту. Только здесь убийцы просчитались, потому что у Антона были спички, свеча, теплая одежда. И наверняка сигнального костра они от ребят не ожидали. Вообще не ожидали, что за ночь на мерзлоте кто-то останется в живых. Никакого насилия — холодная смерть, шепот океана. Увидев сигнальный костер, убийцы нашли Антона, вычислили лежку и сбросили оставшихся в живых со скал.

Вот только... Даже если эти чертовы радары так уж ценны и секретны, никто этого просто не поймет, как не понял Олаф. Студенты решили, что перед ними оборудование метеорологов, — и все, и инцидент можно было считать исчерпанным! Или...

Судя по тому, что написано в журнале, «разведчикам» влетело за самовольную отлучку из лагеря. Они рассказали об увиденном остальным, сетуя на обитаемость острова. Инструктора не было во времянке, когда студенты ее покидали. Пошел взглянуть на находку студентов? Знал, что никаких метеорологов тут нет и быть не может?

Но радаров не видно сверху. Видны рукотворные ступени — и все! Подумаешь! Олаф искренне считал, что за это нельзя убить: даже для самого распоследнего циника, способного взвешивать ценность человеческой жизни, — несоизмеримо мало информации! Восемь человек. Две девушки!

За одни только рукотворные ступени даже СИБ никого бы не стал убивать. И... в журнале написано «оборудование»... Значит... Выкатить радар из пещеры способен один человек — в ту минуту, когда «разведчики» тут побывали, радары стояли на ступенях. Функционировали.

Да нет же, нет! Невозможно. Невероятно. Нет здесь такой информации, что подрывала бы основы существования государства! Нет! А если и есть — это еще нужно увидеть, понять. Олаф пока не понял.

Не все гладко ложится на эту версию! Не все! Эйрик и Гуннар не могли замерзнуть так быстро. Даже на ветру можно было продержаться на много часов дольше, если двигаться. Не заснули же они на северном склоне!

Убийцы должны были предполагать, что, попав под воздействие «шепота океана», ребята не побегут в разные стороны, куда глаза глядят, а будут держаться вместе! Это варвары разбегаются в панике, гиперборей в большинстве случаев действуют иначе.

Неужели убийцы не догадались, что студенты будут до конца бороться за свои жизни? Трудно представить гипербореев, которые, будто овцы, лягут на дно ледяной чаши и покорно умрут. В СИБе служат хорошие психологи, они должны были просчитать поведение своих жертв на несколько шагов вперед...

А от чего, интересно, питаются аккумуляторы? Где, собственно, генератор, если над скалами не стоит стационарный ветряк? Неужели электрохимический? Как-то неправильно, расточительно. Одно дело — катера, где ветрогенератор принципиально не подходит (даже скудных знаний Олафа хватало, чтобы это понять), и совсем другое — радары на берегу, где мощность ветряка ничем не ограничена.

Электрохимический генератор не виден с океана...

Смотреть так смотреть. Если студентов убили только за то, что они видели радары, терять Олафу нечего.

Провода к аккумуляторам подходили откуда-то снизу, сквозь пробитые в скалах штробы, и он спустился по лестнице, надеясь отыскать еще одни ворота в пещеру.

Пещера находилась в самом низу, на минимально допустимой высоте над уровнем моря, чтобы не затопило *Большой волной*. И не жестяные ворота прикрывали вход, а тяжелая металлическая дверь, совсем небольшая. Олаф посмотрел на стены вокруг нее — нет сомнений, сложная каменная кладка, но весьма искусно замаскированная под естественные скалы. С воды никто бы точно этого не заметил, даже если бы подошел к острову очень близко.

Дверь не запиралась — смешно запирать дверь посреди океана, на необитаемом острове, — но подалась с трудом. И сразу же, стоило ее чуть приоткрыть, в нос ударил резкий незнакомый запах, неестественный, химический. Он был чем-то приятен, но вызвал ощущение опасности — Олаф даже попятился: кто знает, может, это ядовитые пары неизвестного ему вещества. Одиночество, снова одиночество! Человек не должен быть один! Один не может рискнуть и зайти в незнакомую дверь, потому что, если это яд, ничто его не спасет.

Любопытство? Нет, пожалуй, ради любопытства Олаф не стал бы рисковать. Более того, он с каждой минутой все меньше хотел знать, что там, за дверью...

А орка радовалась чему-то... Стрекотала, чирикала, а не плакала. Кувыркалась и шлепала плавниками по воде, будто била в ладоши, — этой штуке от нечего делать

любили обучать тягловых косаток, и они, как дети, повторяли человеческий жест с удовольствием. Наверное, видели, как это людей умиляет. Они хотели нравиться людям... Почему? Орки стоят на вершине пищевой цепочки, они совершенны, у них нет врагов. Зачем им люди? От скуки?

Должно быть, им тоже одиноко, как и новому человечеству. Может, у них тоже умирают дети? Впрочем, млекопитающие пережили изменение состава воздуха легче и быстрее людей. Биологи говорят, у косаток лишь сократилось время пребывания под водой.

В пещере было темно, запах чувствовался сильнее, от него слегка кружилась голова и першило в горле. Олаф осветил вокруг фонариком и сперва заметил не генератор — цистерну, похожую на допотопные, но не гнутую и ржавую, а выкрашенную белой эмалью, с красной полосой и надписью на допотопном английском: «Огнеопасно».

Вот она, государственная тайна, подрывающая основы государственности... Вот информация, которая не подлежит разглашению. Это бензин. Или солярка. Продукт перегонки нефти. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, каким горючим веществом с характерным запахом может питаться генератор.

Нет, новое человечество не мечтало о нефти. Но однозначно в ней нуждалось. Олаф знал органическую химию, представлял, насколько отсутствие нефти ограничивает развитие цивилизации. И не в топливе дело, обходились без этого, не умирали. Гораздо важнее пластмассы. Резина, изоляторы, ткани, смазки, растворители... Навскидку трудно представить, какие еще возможности открывает нефть перед людьми. Сокращение трудоемкости половины производств в разы.

Если генератор питается нефтью, то цистерну время от времени надо пополнять. Значит, это не случайно найденный на дне океана танкер — глупо было бы сжигать столь ограниченный запас. Значит, это источник посерьезней танкера. Скважина. О которой не знает никто в Восточной Гиперборее.

Кто дал СИБу право скрывать нефть от остальных? Кто дал право решать, обладать человечеству нефтью или не обладать? Ответ лежал на поверхности: тот, кто наделил СИБ властью. Тот, кто наделил властью ОБЖ. Нет, не наделил — доверил. Доверие — вот на чем основана государственность Восточной Гиперборее. Шаткая основа.

Вот он, вопрос, который требует взвешивать ценность человеческих жизней...

Да, нефть способна разрушить государство. Подорвать основы общинной экономики, экономики без денег. Говорили, она и так дышит на ладан и держится только на традиции. Но, черт возьми, Олафу нравилась эта традиция! Он гордился ею, читая

допотопные книги! Он не понимал и не хотел понимать, как можно мерить труд, мерить вклад... Да, они соревновались в детстве, кто быстрее окучит ряд картошки, но тот, кто выигрывал, не получал больше компота на обед, плата за победу свела бы победу на нет, обесценила ее. Он не понимал, о каких естественных стремлениях человека рассуждают допотопные экономисты, он никогда не видел, чтобы люди стремились иметь больше, чем соседи. Естественно — это стремиться к тому, что ценится в глазах других людей. И если в допотопные времена ценилось богатство, то люди естественно стремились к деньгам. Богатство обесценилось перед лицом гневной Планеты, теперь в цене другие добродетели. И, честное слово, они правильной допотопных!

Петушок на крыше, которого вырезал отец, был лучше, чем у других. И Олаф гордился, хвастался этим петушком. Как гордился и хвастался своим отцом. Но разве что-то изменилось, когда отец сделал петушков на крыши еще пяти домов в Сампе, даже лучше сделал? Да нет же, после этого Олаф имел еще больше прав отцом гордиться!

Только варвары способны отбирать лучшие куски у слабого, потому они и дикари, живущие в нищете, они не поднялись в этом выше стайных животных.

Олаф осмотрел генератор, не стал разбираться с системой подачи в него топлива — пары нефтепродуктов в самом деле ядовиты, и, возможно, для гиперборей более ядовиты, чем для допотопного человека. А может, и нет... Даже для врача это трудный вопрос. Но он один здесь, и никто не спасет, если он потеряет сознание рядом с цистерной.

А еще человека от животного отличает способность понимать слова. И если СИБу стало известно о нефтяной скважине, он мог бы объявить о решении не использовать нефть. Объяснить людям, почему не стоит ею пользоваться. Или пользоваться только в военных целях, как здесь, например. Да, конечно, найдутся те, кто оспорит такое решение... И это тоже подрыв государственности, которая стоит на доверии. Или... потеря власти?

Олаф прикрыл тяжелую дверь, сел на камни и обхватил голову руками. Если это СИБ, то ему самому тоже никогда не выбраться с острова. Можно взять подписку о неразглашении маленьких секретов, но большая государственная тайна, по-видимому, стоит дороже... «Подпишись, что никому не расскажешь об убийстве восьми ни в чем не повинных людей»? Нет, вряд ли Олаф поставил бы под этим свою подпись. И — да, это будет потрясением основ, угрозой существования Восточной Гиперборей как государства. Похлеще, чем нефть. Потому что Восточная Гиперборей стоит на доверии тем, кто ею управляет.

Они разожгли сигнальный костер. Они просили о помощи. Они не понимали, что происходит и почему.

Зачем тогда ОБЖ послал спасательный катер? По инструкции? Или правая его рука не знает, что делает левая?

Подумалось, что надо немедленно покинуть это место. Закрывать двери, ворота, задвинуть засовы — и бежать без оглядки. Олаф сжал виски и нервно усмехнулся: может, еще и тела положить на место? А что, вешки стоят... Поздновато, следы вскрытия не спрячешь...

Если это СИБ — все бессмысленно. Жить бессмысленно — как раньше жить... Впрочем, долго жить и не придется. Олаф поднялся и посмотрел в океан — ничто не тревожило мертвой зыби. Наверное, у капитана катера были навигационные карты, тогда почему он не отошел от рифов? Потому что тут нет никаких рифов, вот почему. И то, что Олаф остался жив, — чистая случайность: оказавшись в ледяной воде во время шквала, выжить невозможно, даже в спасательном жилете. Исправили ошибку левой руки?

Ошибка ведь состояла не в том, что послали катер, а в том, что пришел он слишком рано. Первая же *Большая волна* смыла бы тела разбившихся о скалы. И тело инструктора тоже. Остались бы четверо, умершие от переохлаждения. И ничто не противоречило бы версии о «шепоте океана», кроме сомнительных повреждений на теле Гуннара, которые ничего не доказывали. Сломанная рация? Ее случайно разбила лопасть упавшего ветряка!

Морок сказал, что катера в ближайшие дни не будет, — откуда бы мертвому знать, что на юге штормит? А если это СИБ, катера может не быть вообще. Никто не подозревает, что Олаф остался в живых, придумают что-нибудь правдоподобное, чтобы сообщить родным и студентов, и спасателей.

Продовольствия и воды хватит месяца на четыре, если не экономить. Но за четыре месяца Олаф точно тронется умом... Проектора над лагерем хорошо видны с моря, и вопрос в том, кто раньше их заметит... Суда на Шпицберген ходят редко и архипелаг Эдж огибают с запада.

Все бессмысленно. Сообщить людям о методах сокрытия государственной тайны? Отдать СИБ на суд и расправу? А зачем? Доверия не будет никогда, даже если вместо СИБа создадут новую государственную структуру. А если не будет доверия, не будет Восточной Гипербореи. Простить убийство восьми человек и достойно принять собственную смерть в интересах государства? В этом есть что-то извращенное, рабское что-то или фанатичное на грани одержимости. Дело не в собственной смерти, никто не хочет умирать, стремление человека жить вполне естественно. Но ведь рискуют. И гибнут,

несмотря на старания ОБЖ. Сколько тонет судов, сколько экспедиций не возвращается... Разве Олаф думал когда-нибудь, что не хочет умирать, когда решал, идти ли в экспедицию? Да нет же! Так почему бы теперь не сложить лапки на груди и не помочь СИБу в его святой заботе о государственности?

Все бессмысленно. И жизнь, и смерть.

Олаф поднялся — скалы тянули в себя тепло. Как цверги.

Все бессмысленно. Двигаться, подниматься наверх, возвращаться в лагерь, вскрывать тело Антона. Дело не в том, что с СИБом невозможно бороться. Дело в том, что бороться бесполезно. Если СИБ убил восемь ни в чем не повинных людей, Восточной Гипербореи уже нет. Той Восточной Гипербореи, которую Олаф знал и любил, ради которой готов был умереть. И теперь он точно один, против этой, новой для него, Восточной Гипербореи.

Он добрался до лагеря засветло, но краткость светового дня на этот раз ничего внутри не всколыхнула. Не хотелось смотреть на огненный флаг над временкой. Руки болели опять, и ощущалась боль по-другому, не так, как накануне. Его учили принимать боль как вызов, как испытание, с гордостью и без страха. Теперь это тоже показалось бессмысленным.

Человек не может один. Все, что он делает, имеет смысл только рядом с другими людьми. Нет, не рядом. И даже не перед... Жизнь человека имеет смысл, если он часть человечества. Тогда все, что он делает, так или иначе имеет продолжение. А если продолжения нет, какая разница? Больной перед смертью потел?

Не хотелось топить печку. Не хотелось есть. Не хотелось спать. Книга «Шепот океана» в изголовье постели вызвала едва ли не ненависть. А ведь там, в предисловии, дальше которого Олаф пока не дошел, было сказано: не обязательно паника. Эйфория, депрессия... Океан не понимает, что делает с людьми, иногда видения столь чужды человеческой психике, что могут вызвать аффективное расстройство.

Если бы цистерну с соляной кислотой можно было приписать видениям, посланным океаном!

Олаф покрутил в руках флягу со спиртом — неужели это все, что ему осталось? Все, на что он теперь способен? Все, что теперь имеет в его жизни смысл?

Он отвинтил пробку и сделал несколько глотков. Закашлялся, вдохнул не вовремя, закашлялся снова, задохнулся, захрипел. Из глаз хлынули слезы, заложило нос. Олаф проплевался, утер соплю и потрянул головой. Голова поплыла сразу, еще до того, как из

желудка по телу пошло тепло. Кому, как не медэксперту, знать, что алкоголь не помогает при депрессиях? Не отвлекает и не поднимает настроения? Зато отупляет. Пожалуй, этого ему и хотелось более всего — отупеть.

Тошнота появилась быстро — здоровый организм правильно реагировал на интоксикацию. Олаф выбрался из времянки — еще не отупел до той степени, когда блюют себе под ноги. Но рвота не принесла облегчения: нечего было пить на голодный желудок, печеночная рвота никогда не приносит облегчения, так же как и мозговая. Наверное, не стоило брать с собой флягу, потому что процесс выходил из-под контроля сознания (это Олаф отметил его краешком, еще не совсем замутненным спиртом) и чем-то напоминал самоубийство. Для человека, непривычного к алкоголю, смертельная доза чистого спирта невелика, фляга вмещала гораздо больше.

Свежий ветер если не прочистил мозги, то немного успокоил головокружение. Темнело, но включать прожектора Олаф не стал из странного духа противоречия, назло то ли самому себе, то ли почему-то СИБу.

Посидел в темном шатре, поговорил с ребятами и даже поплакал над ними пьяными слезами, понемногу прихлебывая из фляги за упокой каждого из них. Им, наверное, было смешно на него смотреть... А ему — стыдно вспоминать. Если бы он знал тогда, какое мучительное чувство стыда сопровождает похмелье! Он слезливо объяснялся девушкам в братской любви и всепокорном уважении, вроде бы даже целовал им руки. Просил прощения за то, что ничем не помог. Вел речи пафосные и пространные.

А потом — ничего не помнил. Ни как покинул шатер, ни как шатался по острову, сколько времени и с какой целью. Помнил вроде бы темноту на дне чаши и холод, шедший от земли. Было бы закономерным заснуть где-нибудь в лесу на мерзлоте и больше не проснуться. Может быть, именно к этому Олаф и стремился подсознательно, но другая часть подсознания, более сильная и глубокая, избавила его от такого конца.

Он очнулся внезапно, будто бы даже протрезвел. Словно кто-то его толкнул, разбудил, вытащил из забытья. Очень вовремя вытащил.

Олаф стоял возле кострища, в самой высокой точке южных скал, спиной к обрыву. Над океаном поднималась зловещая багровая луна; остров был огромным кораблем, севшим кормой в воду... И если во сне казалось, что все происходит на самом деле, то теперь он подумал, что спит и снова видит тот же кошмар...

Ни одного огонька не светило в лагере — должно быть, он выключил свет и во времянке, когда уходил. Решил спрятаться от СИБа? Сделать вид, что на острове никого

нет? Как малодушно! Не только оупение — еще и потеря чувства собственного достоинства. Уподобление животному. Скоту, если называть вещи своими именами.

Было очень плохо. Сильно тошнило, раскалывалась голова и мучила совесть. Олаф не сразу сообразил, что одного шага назад довольно, чтобы упасть в пропасть, а шатало его изрядно, этот шаг можно было сделать и произвольно, в попытке удержать равновесие.

А еще было холодно, очень холодно, до озноба. Уходя из лагеря, он не надел даже телогрейку и теперь стоял на ветру в свитере, который продувало насквозь.

Они разожгли сигнальный костер... Мысль обдала болезненным жаром, Олаф начал вспоминать, зачем так напился. И мелькнуло в голове, что можно снова приложиться к фляге, а можно просто сделать шаг назад — и тогда не останется ни мыслей, ни сожалений, ни ощущения бессмысленности существования. Зачем ждать безумия и смерти от голода?

Но инстинкт самосохранения подтолкнул его вперед, подальше от края, и в ту минуту это тоже показалось малодушием, вызвало тягостное чувство стыда.

Свист орки выплыл из неслышных высоких частот и снова ушел в высокие частоты — стало понятно, что так мучительно давит на голову. Олаф обхватил руками виски. Шепнул:

— Ну заткнись же... Пожалуйста, заткнись...

По ногам потянуло холодком. Не мокрым северным ветром, а сухим безжизненным холодком со дна ледяной чаши. Заныли суставы. Багровая луна висела над океаном, ее свет бежал к острову волнами мертвой зыби, и глаза никак не привыкали к темноте. А из-под ног вниз уходил крутой заиндевелый склон с тремя черными трещинами... И Олаф до слез всматривался в темноту, надеясь разглядеть трещины в мерзлом камне.

И разглядел. Две уродливые низкорослые фигуры на склоне. Они не двигались, но приближались...

Алкогольный делирий начинается на пике дезинтоксикации... Но чтобы допить до белой горячки, надо пить лет десять, а не дней пять. Впрочем, есть еще алкогольный психоз... Наверное, это все-таки был сон, продолжение вчерашнего. Повторение вчерашнего. С одним существенным отличием — Олаф мог двигаться. Мог шагнуть назад, в пропасть, а мог пойти навстречу цвергам. И он пошел им навстречу, потому что его учили идти навстречу своим страхам. Навстречу своим галлюцинациям? Мысль показалась ему смешной, и он рассмеялся.

Голова кружилась, и тело слушалось плохо. При свете спуск не был таким крутым и неудобным. Темные безликие фигуры замерли — должно быть, задумались, а стоит ли связываться... Олаф снова посмеялся, но тут же поскользнулся и больно проехался по склону спиной. Сапог уперся в каменный выступ, и падение не стало фатальным. Мелькнула мысль, что надо бы поосторожней, но тело не стало слушаться лучше.

Луна скрылась за краем чаши, глаза привыкали к темноте, белый налет инея словно фосфоресцировал, и оттого темные фигуры внизу были видны отчетливо — не хуже, чем вчерашний морок. И Олаф, конечно, смотрел под ноги, но как раз под ногами ничего толком разглядеть не мог.

Еще раз оступился и снова проехался спиной по камушкам, покрытым тонким слоем мерзлого мха. Из-под сапога скатился камень, стук замер далеко внизу: в самом деле, надо поосторожней, в случае чего — падать высокогато.

В третий раз по камням проехал локоть... И это было гораздо больней, ободрало подсохшие корки со старых ссадин. Зато холода Олаф почти не чувствовал: то ли согрелся, то ли привык. То ли от хмеля плохо работала терморегуляция. Несмотря на движение и свежий воздух, похмелье никак не выветривалось из головы, все так же тошнило, все так же земля уходила из-под ног.

Он спустился, пожалуй, на треть пути до темных фигур цвергов, когда земля ушла из-под ног окончательно, будто что-то сдернуло его с места и потащило вниз. И сначала он съезжал по склону, набирая скорость, будто с ледяной горки (и подпрыгивал на выступавших камешках), а потом тело завертелось, Олаф потерял ориентацию, почувствовал свободное падение — короткое, правда, — и с лету грохнулся ничком на что-то твердое, но не острое, не похожее на камни.

Везет дуракам и пьяницам. Особенно при падениях с высоты. Было больно, да. Местами даже очень. Но более всего мучил многострадальный ободранный локоть — сломанная шея, очевидно, болела бы гораздо сильнее. Олаф шевельнулся, поморщившись, — тело двигалось. Он приоткрыл один глаз, но увидел только кромешную темноту. Приоткрыл второй — то же самое, только радужные разводы перед глазами. Пощупал то, на чем лежал, — колючий иней впился в подушечки пальцев без кожи.

И подумалось еще, что это цверги темным колдовством сорвали его со склона и бросили прямо в свою пещеру, но мысль вряд ли заслуживала серьезного отношения... Если не пить, никакое колдовство не сорвет со склона. Олаф попробовал приподняться и снова поехал вниз. На этот раз не подпрыгивая на камешках — спуск оказался довольно

гладким. Лед. Под ним был лед, присыпанный то ли снегом, то ли инеем. Ноги уперлись в скалу, и Олаф остановился.

Он провалился в трещину, одну из трех, и неудивительно, что в ней скопился лед, — дождевая вода, скатываясь вниз, достигала мерзлоты и застывала. Северная сторона южных скал, куда солнце не заглядывает и летом... Здесь иней не фосфоресцировал так откровенно, как на склоне, но вскоре Олаф разглядел высокие изломанные стены, звездное небо над головой, пологое ледяное дно трещины. Ни одного цверга поблизости не наблюдалось.

Он встал на ноги, придерживаясь за стены, — скользко было, как на катке. Здесь стены взлетали вверх на недостижимую высоту, но где-то недалеко трещина заканчивалась, он видел это еще при свете. Когда думал о том, что цверги выходят на поверхность именно из этих черных провалов...

Идти по льду, пусть и с небольшим уклоном, оказалось тяжелей, чем спускаться по скалам. Приходилось цепляться пальцами за стены, а Олаф так надеялся, что руки начнут заживать, если их не тревожить! Рукав на локте стал влажным от крови — хорошо приложился, от души. Спасибо крепким уроспоровым штанам, иначе ободрался бы с головы до сапог.

Уклон сошел на нет, трещина кончалась, ледяная дорожка (промерзшая речушка?) вела на склон. Олаф подумал, что лед под ногами — пресная вода, а это значит, что на острове можно продержаться больше четырех месяцев. Особенно если экономить продукты и ловить рыбу. Мысль несколько его не обрадовала.

У самого выхода на склон, но еще в тени скалистых стен, он разглядел странной формы холмик... И думал сперва, что в темноте холмик ему померещился.

Нет, не померещился. Он тоже был заиндеветшим, но не таким белым, как лед, и Олаф решил, что это нагромождение камней странной формы. Профессиональная деформация? Новая галлюцинация? Игра воспаленного воображения? Пьяный бред? Будто два тела, прикрытых грубой тканью. Так показалось в темноте.

Олаф нагнулся и тронул край холмика рукой. Не показалось. Он откинул жесткую, заледеневшую ткань и увидел лица. Два мертвых лица. Совершенно нечеловеческих.

Тела были маленькими, будто у десятилетних мальчишек, с безобразными пропорциями. Впалые, будто покореженные болезнью грудные клетки, невозможно узкие плечи, кривые короткие ноги, большие ступни и кисти. Олаф отшатнулся, попятился, поскользнулся и едва не опрокинулся назад. Цверги...

Цверги?!

Если танатологу суждено встретить цверга, то почему это непременно должен быть мертвый цверг? Потому что каждому свое?

Или они просто спят? Ну, как рыбы, вмерзшие в лед? Олаф тронул тело — если и промерзшее, то не совсем. Окоченевшее — да. Как коченеет обычный человеческий труп.

Они просто спят. Они ведь выходили на склон, когда Олаф стоял наверху. И почему-то очень легко представилось, как вскинется рука с непропорционально большой кистью и вцепится в горло... Как ощерится мертвый рот и потянется к лицу, чтобы зубами оторвать кусок теплой плоти. Вот сейчас разнюхают кровь на рукаве свитера...

Совокупность тактильных и зрительных галлюцинаций? Нет, курс психиатрии был слишком общим и коротким, чтобы Олаф мог припомнить, что это за симптом.

Посветить бы фонариком, рассмотреть подробней, что тут такое... В самом деле, цверги — это бабушкины сказки, не надо забывать.

Призраки — тоже бабушкины сказки. Однако морок явился в лагерь, сидел на камне и даже что-то говорил. Олаф, правда, не догадался его потрогать...

Это от одиночества. Он просто сходит с ума от одиночества. И с каждым днем безумие все глубже и глубже, а мороки все страшней и натуральней. От мысли о фляге со спиртом Олафа едва не вывернуло...

Он не потащил их в лагерь. Ночью, в темноте, без куртки... Да еще и с похмелья. Это было верное решение. Но Олаф себя не обманывал — он бы каждую секунду ждал, когда они проснутся. Жесткая ткань, под которой спали цверги, могла бы стать удобной волокушей, но повернуться к ним спиной он не решился. И в лагере, сидя во времянке, он бы не уснул. Потому что нельзя запереться.

Он и без них еле-еле спустился на дно чаши, выверяя каждый шаг, шупая каждый камень. Промерз до костей. И даже поднимаясь в лагерь (очень энергично), нисколько не согрелся.

Луна поднялась над островом, осветила ветряк, плутать в темноте не пришлось. И первое, что сделал Олаф, добравшись до лагеря, — включил весь свет... И свернул шатер вокруг ветряка, чтобы прожектора осветили пространство как можно ярче и дальше.

Хмель выветрился окончательно, осталась только тошнота, даже головная боль отпустила. Думать Олаф не стал. Рассуждать не стал — собственное безумие пугало его сильнее, чем зубы цвергов.

Во времянке было не теплей, чем за ее пределами. Он растопил печку и долго трясся, обнимая ее, как любимую женщину, — пока не стало горячо. Накипятил воды,

сварил крупы с консервами, поел горячего — и все равно не согрелся, только избавился от тошноты. Перевязал руки, ощупью промыл ссадину на локте, но перевязывать не стал, заклеил пластырем.

Хотелось спать, очень хотелось. Ну хотя бы полежать, закутавшись в спальник, с открытой печной дверцей... Но так легко представлялись два цверга, поднимающиеся к лагерю со дна чаши...

Он пошел на компромисс — закутался в спальник, приоткрыл печную дверцу и взялся за книгу «Шепот океана». Озноб не проходил.

Мальчик на дрейфующем судне прожил в океане два месяца. Ему было всего восемь лет — наверное, поэтому он не думал, что сходит с ума... Он видел серебряный город на дне океана под голубым допотопным небом. Он видел то, что происходило за сотни морских миль от того места, где он находился: начало войны с варварами, крушение дамбы на Большом Рассветном, облако пепла, накрывшее архипелаг Норланд. Он видел косяки рыбы и подводных чудищ, о которых не знал и знать не мог. Он с поразительной точностью рисовал водоросли с мелководья и глубоководные экосистемы, затонувшие корабли и залежи руд, и если бы ему было чуть-чуть побольше лет, он бы догадался отметить координаты филлофоровых полей и мест обитания рыбы, что поценнее трески. Это была двухмесячная экскурсия по океану, океан рассказывал ребенку сказки и показывал свои богатства. Так считал этот мальчик, став взрослым. За два месяца его суденышко ни разу не попало в шторм. Рядом с ним шли косатки — транзитные, хищные косатки, «волки моря», — будто океан приставил к нему охрану.

Олаф заснул на середине книги, и ему приснился Гуннар, заступивший дорогу двум цвергам, что поднялись в лагерь со дна чаши.

Рассвет он проспал. Должно быть, потому, что не хотел просыпаться. Предыдущий день показался пьяным бредом, от цистерны с соляжкой до обнаруженных в трещине цвергов. Но... лучше пьяный бред, чем бред безумия. Это, несомненно, стало бы достойным поводом напиться снова, но, во-первых, от одной мысли о спирте воротило с души, а во-вторых, слишком противно было вспоминать себя пьяным. Хотелось даже извиниться перед ребятами...

Олаф поднялся. Привычная уже боль во всем теле теперь была особенно неприятной: одно дело поднимать наверх упавших со скал, в этом есть смысл, ради этого

можно и потерпеть; и совсем другое — по пьянке пересчитать все выступы и камушки на крутом склоне...

Пожалуй, именно стыд сдвинул его с места, заставил забыть про депрессию и страх перед безумием. Он вышел из времянки, когда солнце висело между рассветом и полуднем, не стал завтракать и направился к южным скалам — смелости не хватило только на размышления. И в глубине души копошилась мысль с сумасшедшинкой: при свете дня цверги не опасны, они боятся солнца, — но Олаф выбросил ее из головы.

Орка помалкивала.

Он шел и заставлял себя думать о лете. О том лете, когда возил Ауне в Маточкин Шар. То ли похмелье тому виной, то ли настроение, но вспоминался только последний день — а его никак нельзя было назвать счастливым.

— Ну почему, почему на две недели раньше? — Ауне не сердилась, не плакала — она испугалась и будто погасла. Остановилась.

Олаф и сам не знал, почему не сказал сразу, что уезжает в середине августа, для него это само собой разумелось... Две недели студенты-медики работали «на семге» — заканчивался сезонный лов и людей не хватало. Так было всегда, зимой — тюлени, летом — семга... Ему тоже пришлось остановиться.

Небо с самого утра затянуло тучами, океан отливал темным свинцом, и ветер с него дул сырой, промозглый. В любую минуту мог пойти дождь — не летний ливень, а мелкий, долгий житошной.

— Ну, так надо... — лучшего ответа Олаф не нашел.

Она не догадалась спросить, почему он не сказал об этом раньше.

— А ты можешь не ехать?

— Нет, не могу.

Она задумалась, кусая губы. Повернулась к нему лицом.

— А если Матти скажет, что ты нужен здесь? Тогда можешь?

Вряд ли Матти станет слать радиogramмы в университет ради того, чтобы Олаф погулял еще две недельки...

— Нет. Во-первых, Матти этого не сделает, во-вторых, так не положено.

— Кем не положено? Почему не положено? — она подняла на него глаза. Голубые с зеленым отливом. Ему показалось, что ей холодно.

— Как ты не понимаешь... Так делать нехорошо. Неправильно. Мы — гипербореи, мы не должны жить только для себя. Все будут работать, а я отдыхать?

— Ну ты же тут не отдыхаешь, ты с нами работаешь.

— Работа, тоже мне... Со школьниками... — фыркнул Олаф. — Не переломился.

— Сейчас озимые сеять начнут... Ну пусть Матти скажет, что без тебя нам не обойтись...

— Если бы без меня было не обойтись, Матти не послал бы меня в университет.

— Он тебя послал, потому что надо было кого-то послать, — сказала Ауне с горечью и отвела глаза.

— Ты так считаешь? — Олаф нашел ее слова обидными. — Ты на самом деле так думаешь?

— Да, я так думаю... — ответила она и сглотнула. В глаза не смотрела. Обиделась. Все же обиделась.

— Как ты не понимаешь... Когда не было культиваторов, мы никого в университет не посылали. А теперь работы стало в два раза меньше.

Она посмотрела на него сердито.

— Они прислали культиватор и взамен забрали тебя? Так?

— Ну да, вот как-то так... — усмехнулся Олаф.

— Мне не нужен культиватор, — она резко повернулась и пошла вперед. На ней было легкое летнее платье — она сама его сшила, она очень любила красивые платья. И шила, наверное, лучше всех девчонок в общине. Нет, не только в общине — на всем Озерном. Олаф снова подумал, что ей холодно.

— Ты хочешь, чтобы я работал вместо культиватора? Здорово!

Ему пришлось идти за ней, сзади. И тропинка, как назло, сузилась. Впереди поднималась тяжелая каменная статуя Планеты — в маленькой Сампе и такая огромная статуя, все удивлялись. На самом же деле когда-то, лет сто назад, над берегом стоял небольшой утес, вроде Синего, и какой-то проезжавший мимо умелец-каменотес углядел в нем будущую статую. Говорили, работал больше года. Сампы тогда еще не существовало, гипербореи только начали осваивать острова Новой Земли. Может быть, это была первая статуя Планеты на Северном архипелаге. И смотрела она на юг, в сторону Таймыра. Потом, через много лет, сделали беседку и террасу — чтобы соответствовать.

— Лучше бы ты работал вместо культиватора. И не уезжал.

— Я не хочу быть культиватором. Я хочу быть врачом. — Олаф догнал ее, но идти пришлось по траве, сырой и холодной в тот день.

— А я хочу, чтобы ты не уезжал, — прошептала Ауне еле слышно, не Олафу, а будто самой себе. И скажи она это громче, он бы принял ее слова за каприз, а то и за попытку им командовать.

Ауне, конечно, догадывалась, куда и зачем они идут. Он все еще собирался сказать, что любит ее. Он шел к статуе Планеты, чтобы это сказать. А после ее слов испугался. Не потому, что Ауне могла заставить его остаться, а потому, что приобретала право говорить о своих желаниях не шепотом, а вслух.

— Мало ли чего ты хочешь, — пробормотал он так же негромко, будто не ей, а самому себе. И свернул в сторону.

Он пожалел об этом через несколько минут. Подумал и понял, что просто нашел повод не объясняться, и не потому даже, что ставил себя в зависимость, что-то обещал, давал ей какие-то мифические права, — а просто потому, что стеснялся сказать вслух три простых слова, боялся неловкости, натянутости...

Он вернулся на то же место, но она как сквозь землю провалилась. Он искал ее, заходил к ней домой, но домой Ауне не возвращалась. Он снова ее искал. Потом подумал, что ее мама соврала, ходил как дурак под окнами, смотрел, не горит ли в ее спальне свет, — хоть солнце садилось полностью лишь на несколько минут, но погода была пасмурной, сумеречной, особенно ночью. С ним всегда случалось именно так — сначала он делал какую-нибудь глупость, а потом его мучила совесть... Если бы на следующее утро не надо было уезжать, если бы у него оставалось время все исправить, помириться...

Ауне наверняка сидела дома, иначе ее родители стали бы волноваться! И следовало разозлиться на нее, уйти домой, а не торчать посреди улицы на глазах у всех, но Олаф с каждой минутой считал себя виноватым все больше, а ее — все меньше. Ведь она просто не хотела с ним расставаться...

Отец подошел к нему лишь ближе к полуночи, положил руку на плечо.

— Я ни в коем случае не лезу в твою личную жизнь, — сказал он. — Но завтра тебе рано вставать, а ты еще не собрался.

Не собрался! Да мама давно все сложила — она считала, ей виднее, что «ребенку» понадобится в пути и на Большом Рассветном.

— И... мама там ужин сделала... — Отец кашлянул.

Об этом Олаф не подумал. Что родители тоже хотят с ним попрощаться, что они тоже не увидят его до следующего июня...

Ауне потом рассказала — через несколько лет, смеясь над собой, — что ушла к подружке, в Узорную, и проревела там до вечера. А потом стеснялась зареванная

показаться Олафу на глаза, осталась ночевать. Да и не думала, что он полночи ходил у нее под окном, иначе бы обязательно прибежала домой. Она всю ночь меняла примочки на распухших веках...

Он увидел ее на следующее утро, на причале в Узорной, за несколько минут до отхода катера. И, конечно, правильной было бы попрощаться с мамой, а не отпихивать ее в сторону и бежать навстречу девчонке... Но мама не обиделась, они с отцом стояли и улыбались, глядя на то, как он на глазах у всех целуется с Ауне. Родители всегда его понимали.

Вот тогда ему очень захотелось остаться. Хотя бы на один день. Хотя бы на один час! Только после этого добирался бы он до Большого Рассветного на перекладных, не двое суток, а не меньше недели. Он обнимал ее, тискал в руках, как ненормальный, прижимал к себе, целовал и не мог ничего выговорить. Даже не попросил прощения. Он был очень близок к тому, чтобы остаться, наплевать на все. Катер дал короткий гудок, потом еще один, потом еще... Потом капитан крикнул с мостика, что у него график и ему оторвут голову.

— Тебя ждут, — шепнула Ауне. — Иди.

Она сама это сказала. Было очень важно, что она сама это сказала. И остаться захотелось еще сильнее, но после этого нельзя было остаться.

Потом он стоял на корме и смотрел на Ауне, как она отдаляется, как ее фигурка делается все меньше и меньше... В светлом платье на темных досках причала. И уже не видно, какие у нее круглые коленки... Тогда Олаф сделал еще одну — последнюю в то лето — глупость. И всегда краснел, вспоминая об этом. Он взбежал на мостик — капитан к тому времени ушел в рубку, мостик был пустым, — и отсемафорил русской семафорной азбукой: «Я тебя люблю». Ну, наверное, чтобы это уж точно поняла вся Узорная (кто еще не догадался) и записал диспетчер на причале.

От энергичной ходьбы по морозцу окончательно выветрилось похмелье, развеялись мрачные мысли, жизнь больше не виделась в черном цвете (хотя и розового в ней нашлось не много). Олаф миновал сумрачный лес, стараясь не вглядываться в его тени, и вышел к подножью южных скал, уверенный в собственном здравом уме и правильности действий.

Да, подъем был крутым, но днем на трезвую голову опасным не выглядел.

А ведь ребята разжигали костер в темноте. В темноте тащили вверх дрова и в темноте спускались обратно. Мысль о сигнальном костре снова обожгла, стиснула сердце — они надеялись на помощь. Помощь не пришла. Помощь опоздала. А если бы не

опоздала... Олаф тряхнул головой, отмахнулся от навязчивых рассуждений. Он вчера уже довольно рассуждал, и чем это кончилось? Не надо путать предположения и факты, тогда не придется заливать депрессии спиртом.

Он не мог припомнить, в какую из трех трещин провалился ночью, не мог с точностью сказать, каким путем спускался в темноте со склона, но вскоре разглядел свой собственный черный след на заиндевевшем камне, стоило только подняться повыше. И, понятно, это был вовсе не след сапога...

Значит, не приснилось?.. Неужели он надеялся на то, что это был сон?

А высота, с которой он грохнулся на лед, оказалась не маленькой... В самом деле, пьяницам везет... Конечно, скальные стены трещины не были отвесными, и тело притормаживало (синяки и ушибы с ног до головы это подтверждали), но все равно представлялось удивительным, как Олаф умудрился ничего не сломать, не свернуть шею и не проломить голову.

Тела цвергов не были ни тактильной, ни зрительной галлюцинацией. Они лежали под жесткой тканью защитного цвета, и такой ткани Олаф никогда в жизни не видел: тоньше, чем уроспоровая, но прочней. И не воощеная — пропитанная чем-то другим. Прорезиненная? Брезент — вот как называлась эта ткань. Наверное. Примерно так Олаф представлял себе допотопный брезент.

Он сбросил полотно с двух окоченевших тел. Нет, это, конечно, были не цверги. Хотя бы потому, что одежда у цвергов вряд ли напоминала военную форму. Только напоминала — жалкие больные карлики вряд ли могли быть военными. Ростом не выше десятилетнего мальчика (Олаф редко ошибался больше чем на два сантиметра) — один примерно сто пятьдесят пять, второй — сто шестьдесят. Они бы не достали Олафу и до плеча, а он ростом особенно не выделялся, в отличие от отца и младшего брата. Крупные черты лица, слишком широко расставленные глаза, большой рот, неправильная форма черепа, скошенный лоб... Ухудшение фенотипических характеристик в результате близкородственного скрещивания? Вырождение, иными словами. Такое встречалось, — в племенах варваров, которые несколько поколений подряд не покидали какого-нибудь острова... Но не до такой степени. Да этот объем легких просто не позволит дышать! Они должны были умереть младенцами с такими грудными клетками!

Оп, проводки в ушах... В белой пластиковой (!) оплетке. И одежда... какая странная одежда... Одинаковая совершенно на обоих, потому и подумалось, что форма. И расцветка камуфляжная. Удобная, сразу видно, теплая, непромокаемая. Но... странная. Ткань странная. Будто и не таллофитовая. И наколенники из незнакомого пористого

материала. Олаф тронул наколенник — и внутри тонкая прочная и упругая пластина. Вряд ли металл.

Из какой пещеры они выбрались? Словно двести лет жили одним племенем на ресурсах какой-нибудь допотопной военной базы или склада. Бункера. Цверги, да. Почти цверги.

Ладно. Не раздевать же их тут, на льду...

Олаф поднял одно тело под мышки — легкое, гораздо легче десятилетнего мальчика. Наверное, не стоит волочить их вниз по крутому склону, лучше спустить на дно чаши по одному, а дальше тащить на жестком полотне. Он не сразу подумал, что за этими двумя «цвергами» могут прийти другие...

Белые проводки соединяли два непонятных каплевидных элемента с плоским пластиковым прямоугольником размером со спичечный коробок. И стоило помять прямоугольник в руках, как в элементах что-то зашуршало. Наушники? Олаф прижал один из них к уху — что он, интересно, надеялся услышать? Музыка? Новое человечество потеряло музыку и музыкальную культуру, и вряд ли те песни, что пели гипербореи, сколько-нибудь походили на симфонии. О музыке — той музыке! — Олаф только читал. И, пожалуй, не он один хотел бы услышать, как это звучало когда-то, до потопа...

Нет, наверное, это была не музыка. Не полифония — какофония с жестко заданным ритмом, не мелодия — декламация неритмичного текста под ритм. Олаф не мог разобрать почти ни слова, но предположил, что это допотопный английский. Известно ведь, что слова на допотопном английском (как и на французском) звучали совсем иначе, нежели писались. Конечно, их учили читать слова правильно, но никто ведь не слышал настоящей английской речи... О том, как произносились слова на латыни, люди тоже забыли — еще до потопа.

Надо было немедленно выключить эту штуковину — артефакт редкий, с ним должны разбираться специалисты. Никаких кнопок или выключателей Олаф не обнаружил, только нарисованные значки на пластике. Но, помяв прямоугольник в руках, добился своего — наушники шуршать перестали.

Второй обнаруженный артефакт (из рюкзака карлика) потряс его до глубины души. Тоже пластиковый прямоугольник, но гораздо большего размера. И стоило до него дотронуться, он осветился... Экран осветился. Да, было очень любопытно (и очень красиво, волшебно красиво), но Олаф понял, что перед ним компьютер. Настоящий, работающий компьютер! Он задохнулся от волнения, даже вспотел — выключить,

выключить! Это такая находка... Этой находке нет цены! Гипербореям потребуется еще лет триста (если такое вообще принципиально возможно при столь малой численности населения), чтобы воспроизвести компьютерные технологии и вынуть из сохранившихся серверов не только текстовые символы, но и все остальное: изображения, музыку, кино... К счастью, кнопка нашлась, дисплей потемнел, погасли мигающие с краю точки...

Олаф завернул находку в спальник, но не удовлетворился этим — можно раздавить. Выбросил все из короба с медикаментами, разрезал матрас (чтобы заполнить пустое пространство). Перевязал короб веревками. В общем, упаковал хорошо, надежно. Для верности написал на крышке: «Обращаться с осторожностью!»

Получается, карлики не были диким племенем... Мало иметь компьютеры, надо уметь с ними обращаться. А этим экземпляром, похоже, вовсе не гвозди забивали.

Бочка с соляжкой... Олаф слишком упорно хотел ее забыть. Так может... Может, он ошибся? Положился на гипотезу как на факт? И вовсе не СИБ обладатель этой бочки и этих радаров?

Скептик. Пессимист. Предположить самое худшее, а потом броситься в пропасть, так как это худшее несовместимо с жизнью? Идиот, а не скептик! Радары, направленные на Большой Рассветный с южной оконечности архипелага Эдж... Людьми (цвергами?), которые обладают компьютерами.

Сигнальный костер. Ему же снилось, трижды снилось одно и то же! Почему он не подумал об этом раньше! Костер — не сигнал бедствия, а предупреждение об опасности.

Олаф взглянул на южные скалы и подошел ближе к сложенным рядком телам. Стащил с головы вязаную шапочку. Никто не принял их сигнал. Никто не увидел костра над океаном. Если бы они не разожгли костер, кто знает, может, отсиделись бы на лежке...

Он приподнял край спальника, которым был накрыт Антон. Выбитые зубы. Переломанные пальцы. Простреленное колено. Выдавленные глаза. Все ясно, да? Наверное, он один остался у костра. Отослал ребят на лежку. Олаф бы сделал именно так.

Два маленьких, покоренных природой тела лежали на камнях — невозможно поверить, что они представляют какую-то угрозу для взрослого сильного мужчины. Да Олаф сломал бы им шейные позвонки одной рукой! Как цыплятам!

Огнестрельное ранение. Вот в чем дело. Что они были вооружены, Олаф сообразил не сразу, — редко встречал огнестрельное оружие, только у пограничников. У охотников еще. И несчастный случай как-то был, когда человека на охоте застрелили. И пиратов иногда привозили убитых. Видел, конечно. Сразу ведь узнал. Еще... на мороке узнал. Но все равно плохо представлял себе, как это — когда на тебя направляют ружье... Страшно

ли? Пока не увидишь, как оно стреляет, страшно, скорей всего, не будет. Но и на ствол не полезешь: понимать, что застрелят, и бояться — разные вещи.

Наверное, карликов было не двое. Наверное, их было гораздо больше. Но вряд ли сейчас на острове есть хоть один живой карлик — давно бы пристрелил Олафа из засады, возможностей хватало. И, разумеется, они пришли сюда морем, а не вылезли из пещеры, — бритва Оккама, не надо выдумывать ерунду. Но почему оставили мертвых? Олафу для аутопсии?

По логике, следовало бы начать со вскрытия Антона, но тут любопытство пересилило. Как они живут с такими легкими? Кто они? Люди ли они?.. Странно, но Олаф не испытывал к ним ненависти — к этим двум маленьким мертвым человечкам. Сожаление испытывал. Из уважения к жизни как таковой? И хотел бы ненавидеть, но... нет. Это потом в голову пришло слово «солдаты». Что толку ненавидеть солдат? Все равно что ненавидеть ружье, из которого в тебя стреляют.

Он снова осмотрел рацию — с тем же успехом, что и в первый раз. Солнце шло к западу, но садиться пока не собиралось. День прибывал стремительно, как положено в высоких широтах. И жалко было опускать стены шатра — но ветер мешал работать.

Куртка с капюшоном утепленная из неизвестной синтетической материи с неизвестным синтетическим утеплителем, камуфляжной расцветки. Удлиненная. Застежка... молния? Так это называлось? Из неизвестного материала. Два накладных кармана с клапанами на уровне пояса, два — на груди. Один внутренний. Содержимое карманов Олаф описывал долго и тщательно — не знал названий найденных предметов. Налокотники. Брюки утепленные (комплект с курткой) — только описание самих карманов заняло полстраницы... Наколенники. Вокруг наколенников вставки из эластичной ткани — а здорово придумано, ничего не скажешь: при падении не будет ссадины. Кожаные ботинки со шнуровкой.

Рубашка камуфляжной расцветки, из двух видов ткани (обе неизвестные), на торсе — более гигроскопичная, но менее прочная. И опять карманы... Ох...

Футболка теплая с длинным рукавом из неизвестного эластичного материала. Оливкового цвета. Приятная на ощупь, да. Под ней — ничего. Кальсоны (комплект с футболкой). Плавки из неизвестного эластичного материала голубого цвета. Две пары носков; одни, должно быть, хлопчатобумажные? Вторые теплые, из неизвестного эластичного материала, черного цвета.

На шее цепочка из белого металла, крестообразная подвеска с рельефным рисунком... Черт, это, похоже, распятые. Крестик. Об этом Олаф тоже только читал и не думал когда-нибудь увидеть. Интересно, а есть в нем польза? Амулет гипербореев, символ огня, имеет практический смысл: в солнечную погоду можно разжечь костер. Двояковыпуклая линза не раз спасала людям жизнь. Еще Олаф иногда пользовался ею как лупой...

Без одежды тело казалось особенно безобразным и... беззащитным. Ребра будто сплющены... Кожа смуглая? Ага, только не под плавками. Загорелая кожа. В феврале? Не из Антарктиды же они приплыли... Пояс вулканов никому преодолеть пока не удалось — там вода кипит... И загар ровный, нарочитый какой-то. Летом Олафу и теперь случалось загореть, но обычно темнели плечи, спина — а грудь оставалась белой. И ноги почти не загорали: рубашку на жару снимаешь часто, а брюки — как-то и неприлично, разве что купаться. Солнце в Гиперборее греет не сильно, но ультрафиолет считается даже опасным — дырявый озоновый слой.

Радиация? А кто их знает... Или кварцевание. Да, может быть. Если у них есть компьютеры, то кварцевые лампы тоже наверняка имеются, зимой это важно, особенно для детей.

А может, деформация скелета — следствие рахита? И низкий рост можно этим объяснить. Но неужели у них не нашлось рыбьего жира, если есть компьютеры и кварцевые лампы? Даже варвары не болеют рахитом. Под рукой не было справочника, Олаф никогда не вскрывал больных рахитом такой степени тяжести; максимум, что ему встречалось, — ямка над мечевидным отростком. Впрочем, в Гиперборее следили за здоровьем детей...

За диспропорциями скелета Олаф не сразу заметил неплохо развитые мышцы. Рельефные, налитые. Но тоже как-то нарочито, неестественно. Посмотришь и не поймешь, чем этот человек занимался. При физической работе какие-то группы мышц всегда нагружены больше других, не бывает такого, чтобы нагрузка шла равномерно. А тут... Даже у мальчишек, которые и бегают, и плавают, и играют, и работают, такого не встречается. Редко у кого широчайшие мышцы спины развиты не хуже, чем ее разгибатели...

Неравномерная пигментация радужных оболочек. Зубы... Хорошо, что Олаф не увидел этих зубов ночью, — лошадиные зубы, наклоненные вперед. Кадык выражен незначительно.

Оволосение на лобке... хм... ну как-то это мало напоминало ромб. Не треугольник, конечно, что-то среднее... Наружные половые органы сформированы правильно, только о размере судить трудно — пропорционально росту? Даже, пожалуй, чуть больше, чем положено пропорцией.

Пигментное пятно с наружной стороны бедра, в верхней трети, семь с половиной на пять сантиметров, — Олаф таких никогда не видел. Телесные повреждения отсутствуют.

Если карлики жили изолированно, никто не знает, какие бактерии и вирусы они вынесли из своего бункера. И как мутировали их вирусы за двести лет. То, к чему карлик имеет иммунитет, может убить гиперборейца. Поврежденная кожа на руках в этом случае гораздо более серьезная проблема, чем при вскрытии «своих». Олаф не поленился, облил руки жидким пластырем дважды — и все равно не был уверен в надежности защиты. И здравый смысл подсказывал, что лучше не рисковать, не просто опасность — смертельная опасность, да еще и вероятность заразить других, принести в Гиперборею болезнь, от которой нет защиты.

Но... не отказываться же от вскрытия.

Подумав, Олаф выпил таблетку антибиотика. Но если зараза окажется вирусной (что более вероятно), это не спасет. Вирусы мутируют быстро, двести лет — существенный срок, у гиперборейцев может вообще не быть иммунитета против какого-нибудь простенького гриппа...

Если бы мертвый карлик мог шевелиться, он отшатнулся бы от секционного ножа. Какой там еле заметный трепет — всплеск, выброс! Олафа будто толкнули в грудь.

— Что, страшно? — снисходительно спросил он мертвеца. — А убивать безоружных не страшно было?

Наверное, мертвый не понимал гиперборейского, но на каком языке к нему обратиться, Олаф не знал. И... не все ли равно карлику?

— Не бойся. Это не больно, — усмехнулся Олаф, расправляя редкие и тонкие волосы на его голове.

Эту смерть Олаф ни с чем не мог перепутать. Карлик задохнулся, как задыхаются младенцы, неспособные самостоятельно дышать. Недостаток кислорода плюс отравление углекислотой. При таком объеме легких не было ничего удивительного в гипоксии, но ведь и отравление присутствовало — значит, он не имел защиты от углекислоты, гена, определяющего, жить человеку или умереть. Ведь не младенец лежит на секционном

столе... Как он дотянул до детородного возраста, если изначально не обладал способностью дышать атмосферным воздухом? Ладно, пусть он жил в бункере, где поддерживался допотопный состав воздуха, но не в бункере Олаф его нашел, а здесь, на острове... Не имея защиты от углекислоты, не обладая нормальными легкими, не вырабатывая дыхательный фермент, человек умрет, едва начнет дышать атмосферным воздухом. У него есть несколько минут, не более. Акваланга карлик при себе не имел...

Расположение сердца и легких относительно друг друга у карлика было иным, нежели у гиперборейца. У гиперборейца правое и левое легкие практически одинаковые по объему, сердце находится за грудиной и сдвинуто влево совсем немного — у карлика расположение сердца уменьшало объем левого легкого. И... маленькое было сердце, соответствовало весу тела. И легкие, понятно, маленькие, плоские...

Печень отличалась от нормальной и по размеру (непропорционально меньше), и по цвету, и по консистенции, и по расположению относительно других органов (выше). Недостаток кислорода нагружает печень — наверное, карлик в самом деле дышал воздухом с повышенным содержанием кислорода. Повышенным с точки зрения нынешнего состава воздуха, а не допотопного...

Несмотря на отличия, перед Олафом, несомненно, лежало обычное человеческое тело. Похожее на допотопное больше, чем тело гиперборейца или варвара, но отличавшееся от него не в лучшую сторону.

Заключение было однозначным: он умер, как умирает рыба, которую выбросили на берег.

Стемнело. Пожалуй, в первый раз Олаф вышел из шатра без страха. И недоумевал: как это раньше он чего-то боялся, почему, зачем? Нелепым был его страх, ненормальным. А тут его будто выключили, повернули рычажок. Орка молчала — на этот раз точно молчала, а не давила на мозги ультразвуком; грохот прибоя сменился уютным шорохом волн вдали — мертвая зыбь постепенно уступала место мертвому штилю.

Второе тело было еще легче и еще ниже. Олаф начал с осмотра рюкзака и надеялся, конечно, обнаружить там второй компьютер, но вместо этого увидел другой прибор — тяжелый (не меньше пяти килограммов), удлиненный, в корпусе из тонкого металла и мягком пористом чехле с системой креплений. От него отходила тонкая прозрачная трубка (из неизвестного материала), на конце которой висела маска респиратора...

Полустертую надпись на дне прибора Олаф прочитал при помощи «лупы» — на допотопном английском. Портативный кислородный концентратор... Не акваланг. Респиратор защищает от избытка углекислоты, концентратор покрывает недостающий кислород. Они не могут дышать атмосферным воздухом, им для этого надо таскать за собой пятикилограммовый прибор и носить маску.

Олаф не сразу оценил находку. У гиперборцев не было портативных кислородных концентраторов, почему-то никто не озаботился выпуском таких приборов, хотя принципиальных препятствий (как для создания компьютера) к этому, похоже, не существовало. Стационарные установки делались, кислородные подушки использовались, но в больницах, в реанимации... Олаф не очень хорошо в этом разбирался: возможно, проблема была в аккумуляторах, а не в самом портативном приборе.

Никто не дает кислород младенцам. Это жестоко, это лишь отодвинет смерть, но от смерти не избавит. Пробовали, конечно, постепенно приучать детей дышать атмосферным воздухом — ничего не вышло. Те, у кого отсутствовала защита от углекислоты, держались несколько лишних минут, те, кому не хватало только выработки дыхательного фермента, жили, пока концентрация кислорода не падала до критического уровня. Дольше умирали и мучительней. Эти попытки прекратили больше пятидесяти лет назад, а потом и вовсе запретили. Научная работа двигалась в другом направлении: как на ранних сроках беременности точно определить, будет ли ребенок способен дышать. Пока опыты успехом не увенчались.

Но портативный кислородный концентратор не кислородная подушка. Нужно лишь заряжать аккумуляторы...

Олаф похолодел, представив своего ребенка с этой штукой в рюкзаке. Ни бегать, ни плавать, ни кататься с горы... А если добавить респиратор? Вечный респиратор, который нельзя снять ни во сне, ни для поцелуя с девушкой? А как тогда есть? Через трубочку? На секунду срывая маску и натягивая обратно? Это хуже самого страшного увечья... Но... убивать увечных, чтоб не мучились? Кто возьмет на себя такое право?

Эта штука поставит сотни тысяч людей перед страшным выбором: убить своего ребенка или обречь на нечеловеческое существование. И — Олаф не сомневался — большинство примет решение оставить ребенка в живых. А потом? Тысячи детей в респираторах с кислородными концентраторами за плечами? Специальные помещения, где они могут снять маски? Жизнь под куполом? Это смерть нового человечества. Запретить таким детям иметь потомство — хуже фашизма, люди — не породистые собаки... Это тупик, из которого нет выхода.

Вместо освоения океана, вместо университета, строительства приливных ЭС, заселения новых земель — производство кислородных концентраторов. Но есть вариант и еще страшней: если на всех детей приборов не хватит. Кто возьмет на себя право решать, кому жить, а кому умереть? Сейчас это решает Планета. Решает мудро, но жестоко. Ее решения дают человечеству будущее.

Если Восточная Гиперборея не имеет портативных кислородных концентраторов, значит кто-то уже принял решение... Тот, кто умеет взвешивать ценность человеческих жизней на весах...

Олаф не решился уничтожить прибор — он не умел взвешивать ценность человеческих жизней. Если о приборе узнает СИБ, его уничтожат и без Олафа. А если нет? Если скрыть найденный кислородный концентратор именно от СИБа? Что тогда? Олаф не любил делать что-то тайно, не любил прятаться и оглядываться — он считал, что живет честно. Если бы он был уверен, что кислородный концентратор нужен людям, никакой СИБ и никакие Каменные острова его бы не напугали. Но он вовсе не был в этом уверен. Он не хотел принимать таких решений, не хотел!

Если бы Ауне узнала о такой штуке, она бы не сомневалась. Она бы оставила кислородный концентратор — себе. Для своего ребенка. Так поступила бы любая женщина, любая мать, — Олаф не встречал других. Он любил ее за то, что она слишком женщина.

Олаф отложил решение на потом, убрал кислородный концентратор во времянку и вернулся в шатер.

Причину смерти второго карлика Олаф обнаружил, едва сняв с него капюшон, — бедняге свернули шею. Как цыпленку, поворотом назад. И подумалось почему-то, что это сделал Антон, хотя... Гуннар сопротивлялся тоже. Олаф никогда никого не убивал, но, защищая женщину или ребенка, наверное, мог бы это сделать. И на месте Антона, при угрозе жизни ребят (и девушек!), за которых отвечаешь, — да, так было бы правильно. Но все равно страшно представить себя на месте Антона: одно дело убить варвара, пирата, человека одного с тобой роста и силы, и совсем другое — маленького уродца, того, кто очевидно слабей. Все равно что с ребенком сразиться: стыдно, страшно... Особенно страшно от того, что сделать это можно легко, почти без усилия.

Вырождение часто стирает вторичные половые признаки — у этого карлика кадыка не было вообще. И по сравнению с первым черты лица его, пожалуй, стоило назвать женоподобными: круглей и мягче очертания подбородка, кожа более упругая, подкожная

жировая ткань чуть толще. Зубы немного мельче. Но особенно — мышцы шеи. В самом деле цыплячья шея, ничего не стоит ее свернуть — Олафа передернуло.

Второй карлик был одет абсолютно так же, как и первый. Хлипче был, легче, тоньше в кости. Олаф снял с него куртку с множеством карманов, содержимое которых снова пришлось подробно описать, сунул руку в нагрудный карман рубашки и обомлел... Да, такое бывает. При вырождении такое бывает. Он даже видел фотографию юноши-варвара...

Олаф плюнул на карманы, снял с тела всю одежду, но даже после этого не смел верить глазам: не карлик, не солдат. Перед ним лежала карлица. Женщина. Узкие, поджарые бедра, совсем маленькая грудь, волосы на лобке частично выбриты, но форма оволосения далека от треугольника, хотя и не дотягивает до ромба. Стерты, смазаны вторичные половые признаки, в одежде невозможно отличить ее от мужчины. Но это женщина...

Да, в допотопных книжках Олаф читал, что в те времена женщины, бывало, служили и в полиции, и в армии. Понимал умом, что Планета была перенаселена, что женщине не требовалось рожать десять-двенадцать раз, чтобы обеспечить прирост населения... Умом понимал, но принять не мог — неужели, при перенаселенной-то Планете, не хватало мужчин, чтобы служить и защищать? Неужели у женщин возникала потребность (!) воевать, убивать? Как же ужасен был тот, допотопный, мир!

Он попытался представить Ауне в мужской одежде, с огнестрельным оружием в руках, — смешно это выглядело, смешно и страшно. Женщины всегда добрей, человечней, они готовы прощать врагов. Олаф считал женщину антагонистом смерти (даже спорил как-то с преподавателем истории в университете, утверждавшим дуализм женской сущности), женщина стремится к миру, а не к войне, — чтобы ничто не угрожало ее детям. Потому в агрессивной цивилизации варваров женщина и не имеет прав, превращается в машину для рождения детей и обслуживания мужчины. Но сколь бы дик ни был варвар, ему не придет в голову заставить женщину воевать.

Конечно, теперь женщина не может жить так, как до потопа. Многочисленные беременности и роды изнашивают организм, отнимают силы, время. Но Олафу казалось, что в Восточной Гиперборее сделано все возможное, чтобы облегчить женскую участь, не свести жизнь женщины к одной только функции воспроизводства. Ведь учатся девушки в университете, не только доярки, повара и ткачи из них получаются, но и ученые, инженеры, врачи, учителя. Женщине тяжелей, в несколько раз тяжелей, — Олафу

внушали это с детства, но теперь он знал, понимал это и как врач, и как муж. Ауне родила восемь детей, пережила смерть шестерых...

Захотелось домой. Олаф редко вспоминал, что любит жену, а тут вдруг нахлынула тоска, жалость... Она только разлук ему простить и не могла, а все остальное прощала: грубость, раздражительность, лень, невнимание. Она говорила, что он колючий только снаружи, а внутри мягкий, добрый. И не вернуться — все равно что предать ее, бросить...

Карлица была стерильна. Олаф долго не мог поверить в увиденное, старался найти естественные причины разделения маточных труб, искал у несчастной женщины болезни, ставшие медицинскими показаниями к этой чудовищной операции, — столь серьезных болезней не нашел.

Ей было не больше двадцати пяти лет... Махонькая, худенькая, ростом с Ингу, — жалость кольнула неожиданно и походила на физическую боль. И крутилось в голове: «Если кукла выйдет плохо, назову ее Бедняжка»... Конечно, генетика карлицы оставляла желать лучшего; может быть, ей не стоило иметь потомства. Но кто, кто возьмет на себя право запретить женщине рожать детей?!

Наверное, ей, лишенной материнства, ничего больше не оставалось, как искать смерть. Поэтому карлица стала солдатом? Но кто же, кто же и за что сделал с ней такое? «Не допускается в разведение»... Сельскохозяйственная формулировка, для породистых свиней с наследственным дефектом... Неужели ее можно применить к человеку?

А спрятать кислородный концентратор от людей — это как? Одно дело — выбор Планеты, и совсем другое — осознанный человеческий выбор. Планета имеет право на жестокость, а человек нет. Вот как-то так?

Вскрытие не добавило ничего к очевидной причине смерти, разве что в заключение можно было добавить «с полным разрывом позвоночного столба» — с ума сойти, как мало нужно силы, чтобы убить эту женщину...

Олаф сделал перерыв на ужин. Долго не мог понять, что изменилось, почему все вокруг кажется не таким, как в прошлые вечера. Потом сообразил: орка молчит. Может быть, она ушла от острова? Может быть, надо ждать *Большую волну*? Вообще-то косатке нужно минут десять, чтобы отойти от берега на безопасное расстояние. Никак не больше, если не меньше. Или... Или она сказала все, что хотела сказать?

Иногда видения, которые посылает океан, столь чужды человеческой психике... Да нет, не чужды — просто орка зверь большой, серьезный и мерит людей своими большими

мерками. А маленький слабый человечек думает, что сходит с ума, трясется от страха, заливает свои страхи спиртом... Но действует, в общем-то, правильно... Если ткнуть его носом в подсказку как следует, и не один раз. Сколько раз Олаф видел во сне, что сигнальный костер предупреждает об опасности? И ни разу, ни разу не предположил этого наяву!

Что еще снилось ему не однажды? Серебряный город на дне океана... Под голубым допотопным небом. Обидно маленькому слабому человечку расстаться с мечтой о братьях в подводном городе? Пусть даже отвратительные карлики — гипербореи приняли бы их как братьев. Произведения искусства? Кино? Музыка? Цистерна с соляркой, радары, направленные на Восточную Гиперборею, огнестрельное оружие и кислородные концентраторы. Восемь убитых студентов, из них две девушки, потопленный катер — четырнадцать человек на борту, тринадцать из которых погибли. Больше двадцати человек! И — как бы цинично это ни звучало — все они могли дышать воздухом самостоятельно, у них могли родиться здоровые дети. В отличие от карлики с перерезанными маточными трубами...

И если нефть уничтожит лишь экономику Восточной Гипербореи, то кислородные концентраторы поставят крест на будущем нового человечества. Потому что люди не имеют права на жестокость.

А здорово это придумано: не люди решают, жить ребенку или умереть, — решает Планета. Мудро решает? Да, через триста лет, а может и раньше, дети не будут умирать. Но человек не имеет права на мудрость — и если появится возможность, он выберет доброе, но глупое решение. Вот как-то так? Наверное, нет. Человек просто переложил ответственность на Планету, назвал это ее, а не своей жестокостью, зажмурил покрепче глаза... Олаф не любил обманывать самого себя.

Если бы Ауне узнала о кислородном концентраторе, она бы оставила его себе. Не рассуждая о добре и зле, мудрости, глупости и будущем человечества. Она бы не стала рассуждать и о будущем ребенка, которому концентратор сохранит жизнь. И вряд ли в Восточной Гиперборее нашелся бы человек, способный после этого отобрать у нее концентратор... А если бы нашелся — Олаф бы его убил. В прямом смысле.

Он проводил за черту шестерых детей. Пятерых сыновей и одну дочь. Обязанность отца — для матери это слишком тяжелое испытание. Но что толку, если она была с ребенком девять месяцев, девять месяцев носила его под сердцем, прислушивалась к его движениям, плакала по ночам? Олаф иногда готов был зажать руками уши, отвернуться к стене, уйти в другую комнату (а лучше прочь из дома), только чтобы не слышать, как

Ауне плачет по ночам. Он никогда так не поступал, не имел права — сложить весь ужас ожидания на нее.

Если бы он не делил с ней ужаса ожидания, если бы ни разу не стоял под ногами у Планеты с умирающим ребенком на руках, он бы не сомневался, что кислородный концентратор надо передать в ОБЖ. Это будет правильно, честно, это избавит от ответственности — пусть кто-нибудь другой решает, нужны ли Восточной Гиперборее кислородные концентраторы... Но это не спасет их будущего ребенка от смерти.

Это не обречет их будущего ребенка на жалкое существование в маске с тяжеленным прибором за спиной... И Ауне уже не будет беременеть — ребенок-инвалид не позволит.

Олаф швырнул ложку в миску с недоеденной кашей. Его затрясло вдруг будто в ознобе: убьем этого, неполноценного, ребеночка, а вместо него родим хорошего, здоровенького... Так?

Так поступали все гиперборей, из поколения в поколение. И оправдывали себя тем, что решение принимает Планета. Не спартанцы, которые сбрасывали неполноценных детей со скал... Нет — цивилизованные, гуманные, гиперборей переложили ответственность на Планету и успокоились. Олаф переложил бы ответственность на ОБЖ — и думал бы потом брезгливо, что ОБЖ умеет взвешивать на весах человеческие жизни. Ключевое слово — «брезгливо».

Он попытался доесть ужин, но кусок не пошел в горло — не фигурально, на самом деле: опять напомнили о себе последствия переохлаждения, трудно стало глотать. Обычно он мог спокойно перекусить в секционной, если не хватало времени нормально пообедать, а тут...

Черт бы побрал этих карликов с их кислородными концентраторами! Почему они раньше не вылезали из своего подводного города? Жили себе и вырождались потихоньку!

Наверное, потому, что подходили к концу ресурсы, которые позволили им спокойно жить больше двухсот лет... Наверное, потому, что вырождение зашло так далеко. Но почему не за помощью они идут к гиперборейам, а с войной? Может быть, они просто ничего не знают о гиперборейях? Столкнувшись с варварами, нетрудно сделать неправильные выводы о новом человечестве.

А может, потому, что думают победить. Войну начинают только тогда, когда рассчитывают на победу, — глупо начинать заведомо проигранную войну. И радары их направлены не на Гренландский архипелаг, а на Кольский.

— Чего же они хотели от тебя, Антон? — спросил Олаф, как всегда не рассчитывая на ответ. Это морок отвечал на вопросы — мертвец помалкивал.

Олаф никогда не примерял на себя чужую смерть. Никогда. Не по привычке — это как-то само собой разумелось. И ростом, и телосложением, и цветом волос, и даже типом лица Антон был похож на Олафа, отчего время от времени казалось, что Олаф вскрывает самого себя. Ему доводилось делать немало таких вскрытий — по правде, он не отличался от большинства гипербореев, ничем не выделялся, и лицо имел типичное, не запоминающееся. Но раньше он себя так ясно на секционном столе не представлял.

Стоило мертвеца раздеть, и сразу стало ясно, как его тело оказалось в полосе прибойя на пологом северном берегу: на плече и груди отпечатались следы острых зубов косатки. А ведь когда Олаф в первый раз вышел на юго-восточную сторону острова, ему представился этот кошмар — орка с поднятым со дна мертвецом в зубах... И не так удивительно, что орка принесла мертвое тело, — собака тоже принесет хозяину похожую находку (не хотелось сравнивать Антона с дохлой крысой), удивительно, что Олаф тогда, в самый первый раз, подумал об этом. Неужели они умеют передавать мысли? Нет, не мысли, человек думает словами, — а мысленные образы?

Мальчика, который провёл в океане два месяца, тоже сопровождали косатки. Или они лишь инструмент океана, который говорит с людьми? Пожалуй, это совсем уж сказочная версия. Думать о телепатических способностях косаток было проще и интересней, чем вскрывать тело, так похожее на собственное...

Размозженные губы, выбитые передние зубы... Да, океан потрепал тело о скалы, но это прижизненное повреждение. И почему-то невозможно не примерить его на себя... Так же как раздробленные пальцы. Не одним ударом — несколькими. На обеих руках.

Олаф поймал себя на том, что непроизвольно сжимает челюсти, и с такой силой, что болят виски. Если бы ему не явился морок, он бы, скорей всего, не заметил выдавленных глаз. Мог не посмотреть как следует, решить, что глазные яблоки деформированы соленой водой. Больше всего человек боится потерять глаза. Последний аргумент — после этого допрос, наверное, не имеет смысла. После этого человека можно ударить прикладом в висок и сбросить со скал в океан.

Смерть наступила от ЧМТ — вдавленный оскольчатый перелом височной кости орудием с гладкой ограниченной поверхностью, не имеющей четкого края.

Огнестрельная рана коленного сустава еще раз перевернула все внутри: раньше Олаф не встречал слепого ранения высокоскоростной пулей, да еще и при выстреле в упор. Он решил было, что это разрывная пуля, — задев медиальный мышцелок, она

разлетелась на несколько фрагментов, изорвала связки, разворотила хрящи и осколками засела в костной ткани.

Он никогда раньше не примерял на себя травмы своих «пациентов»! Не скрежетал зубами, не втягивал голову в плечи и не жмурил глаза, у него не тряслись от напряжения руки, не холодело в животе и не грохотало в висках! Ему не приходилось заставлять себя отрешиться от увиденного.

Он бы не стал вскрывать желудок, если бы не хотел установить время последнего приема пищи, — это не голодная смерть, которая определяется по совокупности признаков.

В желудке он нашел то, чего карлики хотели от Антона: завернутую в кожу, перетянутую нитками капсулу с запиской. Непросто было ее проглотить... Если бы они догадались, то, наверное, распорили бы ему живот. Впрочем, они поступили не менее дальновидно — сбросили тело в океан. И вряд ли могли предположить, что орка принесет его на берег, в руки медэксперта. А вот Антон наверняка надеялся на вскрытие своего тела... От этой мысли на лбу выступили капельки пота: надеялся, да... на вскрытие...

Сигнального костра никто не увидел. И если бы *Большая волна* пришла раньше, Олаф решил бы, что виной всему «шепот океана». Однако и поднятые из пропасти тела ничего не доказывали — только вызывали подозрения. Бесспорным доказательством служили радары, трупы карликов и тело Антона. Вряд ли он глотал записку после того, как попал к ним в руки, — тогда надеяться на вскрытие (а сначала — на смерть) было уже естественно. Олаф нашел последнюю мысль не слишком смешной...

«Я покинул лагерь для поиска оборудования, обнаруженного студентами. Студенты укрылись во времянке от сильного снегопада. Я обнаружил радары неизвестной мне конструкции на юго-восточном и южном берегах. Добравшись в сумерках до западного берега, я увидел субмарину. Длина ок. 100 м, ширина — бол. 10 м., водоизмещение 7 (зачеркнуто) несколько тыс. т, предполож. атомный реактор».

Писал впопыхах, старался коротко, но разборчиво, хоть и мелко... Механик. Олаф, наверное, догадался бы, как выглядит субмарина, но вряд ли определил бы водоизмещение даже приблизительно.

Доисторическое чудовище с закаменевшей шкурой. Вертикальный хвостовой плавник, тупое скругленное рыло... И чужой запах, от которого хочется бежать. Трудно судить об остальном, но субмарину Олаф видел во сне глазами орки.

«Экипаж не менее 100 чел., на берег высадилось ок. 30, 3 надувных корабельных шлюпки. Вооружения не видно из-за снегопада. Экипаж вооружен автомат. оружием, предположит. дпт М16 или ее мдф, я заметил 2 снайперские винтовки, один пулемет сист. браунинг, один подствольный гранатомет неизвестной системы. Также шокеры-дубинки и штык-ножи».

Это война. Антон молодец, не размазывал по записке прощальные сопли, и в оружии разбирался — Олаф не сообразил бы, какая информация более всего важна. На войне.

«Чужаки очень маленького роста, около 150—160. Надеты респираторы, очки. Не могут дышать воздухом, используют приборы для дыхания. Прибор уязвим, разрыв трубки нарушает герметизацию и вызывает скорое отравление CO₂, потерю сознания. После смерть наступает быстро, если никто не держит обрывки трубки соединенными. Конструкция прибора, генерирующего кислород, важна лишь из-за конструкции его аккумуляторных батарей, а устройство респиратора уникально и имеет важное значение для науки».

Вот как... О ценности респираторов Олаф не подумал. А ведь логично — защититься от избытка углекислоты не так просто.

«Я не успел подойти к лагерю раньше чужаков и сначала не считал это нападением».

Если бы Олаф увидел подводную лодку и людей в форме, пусть и вооруженных, ему не пришло бы в голову, что это нападение. Ему бы пришло в голову, что люди, живущие по ту сторону пояса вулканов, смогли пробиться к гипербореям. Вряд ли так оно и было, или за поясом вулканов карлики все равно жили в маленьком подводном городе (бункере, пещере) — иначе их не коснулось бы вырождение. В любом случае, Олаф бы вышел им навстречу, ничего не опасаясь.

«Со слов студентов. Они поняли, что снегопад не прекратится до темноты, и собирались готовить обед. Чужаки пустили во времянку слезоточивый газ. Студенты покинули ее через аварийный выход. После этого им, угрожая оружием и используя шокеры при сопротивлении, велели раздеться и разуться, обыскали, облили водой и отогнали от лагеря вглубь острова, на мерзлоту».

Вот так просто. Не растопили печку, потому что ждали продолжения работы по обустройству лагеря. Не раздевались. И след от сапога на матрасе мог бы натолкнуть Олафа на мысль о том, что они покидали времянку обутыми.

Слезоточивый газ — да, для карликов очень простой способ выкурить ребят из временки. Учитывая, насколько они меньше ростом и слабей. Вряд ли студенты понимали, что происходит и почему, вряд ли выбрались наружу способными не то что сопротивляться — нормально соображать. Наверное, они тоже не сразу поняли, что это нападение. Наверное, не сразу приняли угрозы оружием всерьез... Потому и сопротивлялись? Шокер расставил все точки над «і».

О том, что их могли облить водой, Олаф не подумал. Морской водой из бочки, потому в ней осталась только половина... Так просто — и непостижимо. По сути, их убили именно в эту минуту, а то, что умерли не все и не сразу, так это благодаря Антону и спичкам в его кармане.

А ведь это Олаф тоже видел во сне... Правда, всего один раз, но видел. И теперь отпадает вопрос, почему Эйрик и Гуннар замерзли так быстро, — в мокрой одежде на ветру у них было совсем немного времени. Впрочем, у остальных, оставшихся на мерзлоте, времени было не намного больше.

Олаф перевернул листок.

«Необходимо отметить мужественное поведение Гуннара (Песчаный). По дороге у Саши (Бруэдер) случился приступ удушья, он ближе всех находился к источнику слезоточивого газа. Спасти его не удалось. Я не сразу нашел студентов в темноте, голоса и видимость были приглушены снегопадом. Эйрик (Инжеборг) и Гуннар (Песчаный) попытались вернуться в лагерь за спичками и одеждой, их дальнейшая судьба мне неизвестна. Для спасения от холода мы оборудовали ночлег с каменным очагом и высушили одежду. Чтобы предупредить о появлении субмарины и вооруженных чужаков, мы написали несколько записок, но боялись, что наше убежище будет обнаружено, а записки уничтожены».

Расстегнутые пуговицы на рубашке Эйрика, сожженный клочок бумаги на лежке — все, как и предполагал Олаф.

«Мы поняли, что нас хотят убить, но так, чтобы смерти выглядели естественно. Мы приняли решение разжечь сигнальный костер. Если какое-нибудь судно ответит, мы сможем передать предупреждение азбукой Морзе. Оставили Лизу поддерживать огонь в очаге. Сложив костер, мы обнаружили, что субмарина обогнула остров и причалила к юго-восточному берегу, чтобы убрать радары. Видимо, часть чужаков пересекала остров по прямой, чтобы добраться до субмарины, но, возможно, они прочесывали лес, ища нас. 2 из них подошли к нам слишком близко, 1 передал оружие товарищу и направился прямо на

нас. Я его убил и хотел убить 2-го, он заметил меня раньше, но не выстрелил, а убежал с криком о помощи».

Ох... Олаф отметил в протоколе переполненный мочевой пузырь карлицы. Женщина не должна воевать: для того чтобы пописать, ей надо отдать оружие товарищу... Антон не узнал, что убил женщину, которая просто шла «в кустики».

Не выстрелил, а убежал с криком? Хороши морпехи... А впрочем, если они выросли в подводном городе, то где учились воевать? В спортзале? Там же, где качали широчайшие мышцы спины... Освоить запрещенные болевые приемы они сумели и с радостью применили против безоружного. Технологией быстрого допроса они тоже овладели неплохо. Ненавидеть их? Смеяться над ними? Презирать? Бояться?

«Я спрятал тело убитого чужака в третьей с востока расселине, идущей от самой высокой точки острова в лес. Там же я спрятал еще одно тело задохнувшегося чужака, его еще живого несли к субмарине, но не успели и оставили тело, завернутое в полотно, забрав оружие и дыхательное приспособление».

А ведь в самом деле: тела карликов Антон передал Олафу для аутопсии...

«Я отправил студентов к месту ночлега и выждал время, пока они там укроются. После этого я разжег костер. Надеюсь, чужаки их не найдут и покинут остров. Они торопятся, поднимается штормовая волна, скоро субмарина будет вынуждена отойти от скал».

Чужаки их нашли. Лиза не осталась поддерживать огонь. Сигнального костра никто не увидел. Олаф не стал говорить этого вслух. Не только эта записка нужна была карликам от Антона. Им нужны были спрятанные тела и место лежки. И, наверное, он бы сначала отдал им их мертвецов, а не своих живых ребят. А значит, не отдал. Найти живых проще — запах дыма, голоса, движение ветвей. Мертвецы лежат молча и в такую погоду ничем не пахнут.

Почему они не вернулись за телами потом? При свете дня, например?

Потому что февраль — месяц штормов и шквалов. Во время шквала они потопили катер и на этом успокоились. Шесть дней океан качает мертвой зыбью, подойти к северному берегу на шлюпках можно, но зачем рисковать? И где они учились управлять шлюпками, в спортзале? Восьмиметровая волна.

Олаф прислушался. Поднялся, вышел из шатра и снова прислушался. Мертвую зыбь сменял мертвый штиль — и здесь не было слышно грохота прибоя.

Записку Антона, тела карликов, компьютер, кислородный концентратор, протоколы вскрытия — это нельзя отдать. Они придут за своими мертвецами. Возможно, полностью

демонтируют радары. И что они увидят? Свет над лагерем, ветрогенератор, десять трупов, очевидно вскрытых профессионалом...

Олаф посмотрел на разобранное тело на секционном столе. Да, сначала нужно думать о живых, и только потом тратить время на мертвых. Но этот человек не заслужил такого — лежать распотрошенным в окружении своих внутренностей, с пустой черепной коробкой и стянутой на лицо кожей головы... Не надо суетиться, тогда все можно успеть.

Недаром Олаф примерял смерть Антона на себя — ничего не стоит оказаться в его положении. И это уже не подсказка орки и не работа подсознания. Осознав опасность, Олаф почему-то перестал испытывать страх. Не питал пагубных надежд — карлики прочешут остров, спрятаться будет трудновато, — но «не питать надежд» не означает оставить все как есть.

Катер, шедший на помощь студентам, перехватили на подходе к острову. Радары в это время не работали, но на субмарине узнали о приближении катера. Значит, есть и другие радары, вряд ли это такое счастливое для карликов совпадение.

Вокруг шатра снова бродили тени — хоровод мертвецов? Страшно не было. Ну совершенно. Неужели его пугала орка? Или не пугала — подходила к нему со своей большой меркой?

Не надо суетиться. Сначала — найти хорошее укрытие, которое трудно обнаружить, прочесывая островок. Это непросто — среди ночи, в полной темноте. Но до рассвета часов двенадцать, не меньше... То, что в темноте выглядит хорошим укрытием, среди бела дня оказывается на самом видном месте. Фонарик? Он не освещает ничего и в пяти метрах.

Олаф привел тело в порядок, постоял немного над секционным столом — снова показалось, что на столе лежит он сам. А лицо изменилось после аутопсии.

— Ты... — начал он и сбился — не нашел слов сразу. — Ты прости, что я думал о тебе плохо. Без тебя... Ты очень много сделал. Я попробую не потерять... попробую закончить. Не знаю, смогу ли... как ты...

Он стянул с головы вязаную шапочку и еще немного постоял над телом. Может быть, ни Антона, ни ребят не будут хоронить. Может быть, карлики сбросят в океан их тела.

Олаф взял кастрюлю с нечистотами, откинул полу шатра и обомлел: воистину, планета стоит на стороне своих избранных... Небо сияло от горизонта до горизонта. Не так красиво, как в тот, первый, раз — лишь синим и зеленым, но удивительно ярко. Было светло как днем. Ну, не совсем, но гораздо светлей, чем ночью.

Какое место трудно обнаружить, прочесывая островок? На скалах, конечно. Но тогда нужно, чтобы его не было видно с воды. Олаф посмотрел на руки и вздохнул. Ничего, это не раздробленные пальцы и не выбитые прикладом зубы. Он подхватил веревку, крючья и ледоруб.

Место нашлось, и не одно, можно было выбирать. Пожалуй, Олаф слегка смалодушничал, когда выбрал то, куда легко спускаться без веревки, по крутой, еле заметной тропе. Не очень низко — метров двадцать. На восточной стороне: увидишь и приближение катера, и подход субмарины к радарам. Не пещерка, но что-то похожее на то — ниша под козырьком, прикрытая выступом, похожим на контрфорс, с севера. Немало сил и времени Олаф потратил на то, чтобы прикрыть нишу с юга и с востока, — возвел каменный вал высотой чуть выше колена, чтобы спрятаться лежа.

Туда он перетащил ящик с компьютером, пресловутый кислородный концентратор и папку с бумагами. Выстелил «пол» пемзовыми блоками, положил матрас и три спальника — пришлось взять серые, которыми он накрывал мертвые тела, — чтобы не были заметны на фоне камней. Сложил очаг, но решил топить его только днем — ночью с воды будет виден отсвет. Нагреть камни и убрать под спальники — тепло сохранится на сутки, если не больше. Набрал консервов, воды, дров, взял смену одежды, аптечку. Дня три можно продержаться. Подумал немного... Наверное, глупо это было, но показалось вдруг важным: Олаф снял с флагштока огненный флаг, сложил и убрал за пазуху. Раз это война.

Спать хотелось сильно, время катилось к утру, *aurora borealis* гасла, но вместо нее над островом поднялась луна.

Он свернул шатер и убрал полотно под аккумулятор. Выключил генератор, снял прожектора. Опустил на землю мачту ветряка и долго возился с лопастью, проткнувшей стену тамбура (и разбившей рацию), чтобы вернуть ее на место — на то место, где ее оставили карлики.

Вряд ли они заметят исчезновение ящика с медикаментами, нескольких спальников и одежды. А вот вычерпанную из бочки воду... Олаф снова взглянул на руки. Не простреленное колено... Альтернатива давала хороший стимул: не переломился — поднял и принес с десятков ведер.

За этим занятием его и застал рассвет — ясный, почти весенний. Не успел? Он почему-то был уверен, что субмарина появится на рассвете.

Иней поблек, стало теплее — по-видимому, чуть-чуть повыше нуля. И океан совсем успокоился, лежал вокруг острова серым зеркалом. А на северо-западе, довольно далеко от берега Олаф разглядел черный орочий плавник... И не сомневался: о приближении субмарины орка его предупредит.

Оставалось разобраться с мертвыми. В убежище на скалах они бы не поместились, да и не след складывать все яйца в одну корзину. Спрятать их в трещине? Карлики не нашли мертвецов только потому, что не успели. В трещины они заглянут обязательно. Было еще два обнаруженных на скалах места, с довольно трудными спусками... Если карлики найдут тела, они начнут искать того, кто их вскрывал. Не о мертвых Олаф заботился, не о доказательствах для ОБЖ — о собственной жизни. Ну и... о том, ради чего умер Антон.

За то время, что Олаф провел на острове, день прибавился почти на два часа, до темноты времени хватало, но он ждал появления карликов раньше — пришлось убеждать себя, что торопиться незачем, иначе точно не успеешь и наделаешь глупостей.

— Ну что, ребята... — Олаф посмотрел на мертвецов, лежавших рядом у опрокинутой мачты ветряка. — Будете помогать. Организуем драмкружок, сыграете самих себя в собственных костюмах. Не все: только те, кто не падал со скал.

Хорошо, что он оставил вешки... Одеть мертвецов оказалось не так тяжело, да и растащить по местам попроще, чем принести в лагерь, — все время под горку. Но... жалко было оставлять их в одиночестве. Снова в холодном одиночестве. И Олаф, поминутно зевая, с мутными мыслями в голове, все уговаривал их, что это на время, что когда-нибудь все кончится, придет катер и отвезет их к папе и маме... Сам не очень-то верил в свои обещания, но обещал, обещал...

Не переломился, нет. Но, опуская на веревке четвертое по счету тело, Олаф уже не думал ни о раздробленных пальцах, ни о выбитых зубах. Ни даже о простреленном суставе. Разве что без глаз остаться пока еще не захотелось. Сначала он собирался разделить их, по трое положить в разные места, но понял, что на это сил не хватит. Желание спать пропало, сменилось шумом в ушах и нездоровым равнодушием к происходящему. Двух карликов опускать было легче всего. Пришлось и самому спуститься — прикрыть их брезентом (так замечательно слившимся с цветом камней). На этот раз он не опасался, что кто-то наверху обрежет веревку, но рукам от этого было не легче. И мысли о раздробленных пальцах теперь не помогали.

Когда он закончил, перевалило далеко за полдень, а предстояло еще развести огонь и нагреть камни. Пожалуй, в этом Олаф должного рвения не проявил, дождался лишь, когда камни станут чуть теплыми с противоположной от огня стороны, завернул их в полотенца (да, закопченные камни в белые полотенца!), сунул в ноги и заснул тут же, едва положив голову на свернутую валиком куртку.

Проснулся вскоре от жары, снял телогрейку — камни давали много тепла. Потом просыпался ночью и долго не мог уснуть, вспоминал, что еще забыл сделать. Думал, что все его хитрости шиты белыми нитками: довольно как следует рассмотреть мертвецов из «драмкружка», и все сразу станет ясно. Камни грели здорово, почти не остыли. В спину упирался угол кислородного концентратора...

Планета решает, кому жить, а кому умереть. А если перед выбором поставить человека (обычного человека, не того, кто умеет взвешивать ценность человеческих жизней), он побоится принять мудрое решение. Побоится совести своей, побоится слез жены. Того мгновения, когда остановится у ног Планеты с умирающим ребенком на руках. И перечеркнет будущее нового человечества.

Приберечь, спрятать, оставить себе? Отдать прибор Ауне — она не будет долго думать. Или Олаф плохо ее знает? Поставить перед выбором и ее тоже? Чтобы потом она не могла простить себе принятого решения, какое бы из двух решений ни выбрала? Лишь бы не решать самому...

Отдать прибор ОБЖ? Обречь на смерть собственное будущее дитя — по сути, убить своими руками? И убедить себя после этого, что так решил ОБЖ, а не он, Олаф.

Он выбрался из-под спальников, поднялся — снизу, от океана, дохнуло сыростью. Светила луна, черная вода блестела масляно, недобро, но красиво. Человек имеет право идти против Планеты, имеет право побеждать ее — и побеждает. Цунами бьют в северную дамбу Большого Рассветного, рушат иногда — но человек отстраивает ее заново. Планета накрывает Восточную Гиперборею полярной ночью — человек освещает дома и улицы электрическим светом. Планета посылает шторма и шквалы — человек все равно идет через океан на жалких своих суденышках, тащит грузы на баржах. Человек и теперь может пойти против Планеты — дать жизнь тем детям, которым Планета отказала в праве дышать самим. Но будет ли человеку от этого лучше? Может быть, с Планетой нужно не только воевать, но иногда и соглашаться? Не перекладывать на нее свою ответственность, а делить?

Олаф нагнулся и взял в руки кислородный концентратор, завернутый в тряпку. Устройство респиратора уникально... Ну и пусть. Клонирование тоже было великим

научным открытием, и что с того? Побеждая Планету, людям стоит думать, как бы заодно не победить и самих себя...

Если он останется в живых, то когда-нибудь пожалеет об этом. Когда-нибудь ужаснется самому себе. В горле пересохло, показалось на миг, что он держит в руках не мертвый прибор, а живого ребенка. И, как некогда спартанцы, собирается сбросить его со скалы. Сам, не перекладывая решение ни на Планету, ни на ОБЖ.

Олаф поднял прибор над головой обеими руками и, хорошенько замахнувшись, кинул. Подождал, услышал далеко внизу тихий всплеск — звук показался страшным, будто полоснул тупым ножом по нервам, порвал, а не порезал... Когда-нибудь он пожалеет, ужаснется самому себе.

Он не сразу почувствовал дрожь — не от холода, от нездорового перевозбуждения, — только когда попробовал открыть ножом банку консервов: нож плясал в руке, никак не попадал в край крышки. Хорошо, что он не стал хирургом. И потом кусок снова застревал в горле, трудно было глотать, а есть совершенно не хотелось.

Олаф долго лежал без сна, передумывая и перемучивая сделанное. Жалел об оставленной во времянке книге, которую так и не дочитал. Обмирал, вспоминая, как умер Антон, — и хотел выбросить эти мысли из головы, но натыкался на них снова и снова; убеждал себя в надежности убежища — и не верил сам себе.

Он не заметил, как уснул, а проснулся от резкого, тонкого (на грани ультразвука) крика орки. Выглянул из-за возведенной с таким трудом каменной насыпи: занимался рассвет, солнце не пробилось сквозь дымку облаков, но осветило небо на юго-востоке. Несмотря на облачность, океан оставался спокойным. И хотя Олаф не увидел ничего подозрительного на гладкой поверхности воды, сомнений не было: орка разбудила его потому, что к острову приближалась субмарина. Возможно, она подходила с другой стороны, а возможно, еще не поднялась на поверхность. Олаф махнул орке рукой, та молча показала ему свою гладкую черную спину и ушла в глубину — не стала прыгать, брызгаться и шуметь.

Он подождал еще немного, вглядываясь в горизонт, но ничего не увидел, даже орочьего плавника. Полежал, укрывшись спальниками, но долго не выдержал — неизвестность и неподвижность показались совершенно невыносимыми; нагретые камни до сих пор хранили тепло, под спальниками было душно и жарко.

Олаф, конечно, понимал: глупо и опасно вылезать из укрытия — вдруг субмарина идет с востока на перископной глубине? Из-за облачности вода не просвечивала насквозь, как в солнечный день... Но он все же выбрался из убежища и поднялся наверх, выглянул

осторожно — северного берега не увидел. Поднялся еще немного, потом еще, потом сделал несколько шагов вверх в направлении южных скал, потом добежал, пригнувшись, до невысокого каменного гребня, за которым можно было укрыться. Поглядел осторожно...

Субмарина подошла к пологому берегу с северо-западной стороны. Целиком Олаф ее не увидел — только верхнюю часть рубки, — потому взобрался повыше и выглянул, чуть приподняв голову над прикрывшими его камнями.

Она была огромна. Олаф не понял бы, насколько подводная лодка велика, если бы не заметил людей на палубе. С левого борта спускали шлюпку, еще две шлюпки направлялись к берегу. И незачем было рисковать, дожидаясь, пока карлики поднимутся по северному склону на возвышение, к лагерю, но Олаф хотел знать, сколько человек высадится на остров.

Расстояние оказалось слишком большим, над водой поднималась легкая дымка — считать получалось с трудом. Олаф попытался посмотреть вдаль через линзу, висевшую на шее, но это не помогло. Шлюпка вмещала двенадцать человек (?), в трех Олаф насчитал тридцать два карлика (вроде бы), а четвертой так и не последовало.

Он успел вернуться к себе в убежище до того, как его заметили, нырнул под спальники — продрог. Оставалось дожидаться, когда карлики прочешут остров, демонтируют радары и уберутся восвояси. Сидеть в своей «норе», помалкивать и дрожать от страха...

Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Ждать, пожалуй, тяжелее. Надо было взять с собой книгу...

Время тянулось поразительно медленно — Олаф иногда посматривал на солнце, пятном просвечивавшее сквозь тонкие облака, и, не надеясь на глазомер, проверял время по компасу. Он не слышал ни голосов, ни выстрелов — ничего, будто карликов и не было на острове. И думал с тоской, что не узнает об уходе субмарины, так и будет сидеть здесь и замерзать потихоньку, боясь разжечь огонь...

О замерзании речь пока не шла, под спальниками тепла хватало с избытком.

Олаф подремал немного, надеясь, что во сне время пройдет быстрее, но, взглянув на компас, был слегка разочарован — он спал не больше получаса.

В конце концов он нашел себе занятие: перечитать и подправить протоколы вскрытий. Пока субмарина стояла с северо-западной стороны, не стоило опасаться, что его кто-то увидит с воды, — можно было делать это сидя. Олаф, завернувшись в спальники,

устроился поудобней, подставил под спину ящик из-под медикаментов и с энтузиазмом погрузился в работу — время двинулось вперед быстрее.

Однажды он услышал шаги и голоса над головой, только странные голоса, неживые, будто доносившиеся из радиоприемника. Это показалось ему забавным: вот он сидит, спокойно делает свое дело, а карлики идут мимо и не подозревают об этом.

Солнце, двигаясь к полудню, скрылось за островом — теперь узнать, сколько прошло времени, было невозможно. Оставалось просмотреть два протокола, но Олаф уже решил, что пройдет по ним еще раз, тщательней. А вот что он будет делать, когда стемнеет? Вряд ли карлики до темноты закончат свои дела...

Он совсем расслабился и даже нарочно пытался настроить себя на худшее, чтобы не поддаться опасной надежде, но с каждой минутой чувствовал все отчетливей, что победил. Ничего не забыл, нигде не ошибся.

Оставался последний протокол — вскрытия карлика, и в него Олаф собирался внести больше всего поправок. Он редко поднимал глаза, чаще косился в сторону севера: не пойдет ли субмарина в обход острова? А тут задумался вдруг, покусывая ручку, посмотрел вперед и обмер...

К острову шел катер. Спасательный катер ОБЖ. Такой же, как тот, что затонул в трехстах метрах от берега. Он, как и субмарина, переждал непогоду и направился к Гагачьему, как только смог выйти в океан. Олаф почему-то не подумал об этом заранее, не оставил никакого знака, не предупредил об опасности... И самоуверенно считал, что нигде не ошибся...

Он прикинул, на каком расстоянии от него горизонт и сколько времени есть в запасе... Почти не осталось времени в запасе. Минут сорок, не больше. Он произвольно скомкал в руке листок с протоколом, судорожно соображая, что может предпринять.

Днем сигнальный костер не нужен. Довольно гиперборейского флага — недаром он выкрашен в цвет огня. Олаф выдернул спрятанный в изголовье флаг, рванул его на две половины, вскинул над головой. Увидят ли? В тени острова, под козырьком... Человеческая фигура хорошо видна на фоне неба...

Он помахал половинками, скрещивая руки над головой, подождал ответа — не было ответа, не видели его с катера, не видели! Помахал снова, и снова, и еще... Нет, никто не ответил.

А потом из-за «контрфорса», прикрывшего его убежище с севера, появилась субмарина — верней, ее рубка, которая через минуту ушла под воду. Сверху Олаф видел темное пятно под водой, которое двигалось в сторону катера.

Карлики не дадут катеру подойти к острову. Пока не демонтируют радары, пока не уничтожат все следы своего пребывания здесь... Не было никаких сорока минут — субмарина движется гораздо быстрее катера, тем более под водой.

Человеческая фигура на таком расстоянии лучше всего видна на фоне неба. Некогда испытывать судьбу... Теперь все зависит от того, насколько карлики далеко от этого места. Ну и какова прицельная дальность их оружия...

Он поднялся наверх, не особенно таясь, окинул взглядом остров: увидел несколько карликов в лагере, двоих на западном берегу, еще кто-то копошился в лесу на дне чаши...

Бегом — в направлении южных скал. Подняться выше, чтобы сигналить на фоне неба, а не западного берега. Олаф миновал каменный гребень, взобрался на широкую площадку, оглянулся. Отличное место: южные скалы еще не бросили на него тень, и с катера видно хорошо. Олаф снова помахал половинками флага над головой, подождал несколько секунд с замершим сердцем... На мостике мелькнул красный флажок — его заметили. Он выдохнул с облегчением — ну хоть не зря. Как бы это... покороче... Коды русской семафорной азбуки вспоминались сами, телом, а не головой.

«Уходите вас атакует субмарина подлодка передайте на берег остров захвачен вас атакует субмарина».

Он не смог разобрать ответ — далеко. Но надеялся, что с мостика на него смотрят в бинокль. А поверят ли на катере столь необычному сообщению? Не сочтут ли Олафа безумцем или шутником? Сам Олаф не поверил бы ни за что.

Если с катера сигнал уйдет на берег, нет никакого смысла его топить... Додумаются ли карлики до этого? Или им все равно?

«Срочно передайте сигнал тревоги вас атакует субмари...»

Что-то маленькое, но очень тяжелое ударило сзади в правое плечо, Олаф пошатнулся, едва не опрокинувшись. Не зафиксировал букву «н». Половинка гиперборейского флага выпала из разжавшихся пальцев. Сначала было просто горячо, он потянулся рукой к ужаленному месту и сообразил вдруг: пуля? Сустав ответил острой и холодной болью, от которой повело голову и подогнулись колени. Пальцы коснулись мокрого от крови свитера, боль нарастала вместе с головокружением, дошла, казалось, до мыслимого предела... Вторая половинка флага тоже слетела вниз — вместе со скомканным протоколом вскрытия, который Олаф почему-то до этих пор сжимал в кулаке.

Он увидел, как разворачивается катер, как прибавляет ход... Уйдет ли? Успеет ли передать радиограмму? Если развернулся, значит поверил. Вряд ли уйдет — жалких

двенадцати узлов маловато, чтобы соперничать с атомной подлодкой. Но на передачу сообщения времени достаточно.

Возле уха свистнула еще одна пуля — одновременно со звуком далекого выстрела. Кружилась голова, все быстрее и быстрее, камень под ногами ходил ходуном, и Олаф сел, чтобы не упасть. Понемногу начал сползать вбок и вниз. И боялся не смерти от пули, а еще одной раны — еще одной такой же невыносимой боли. Мысли плавали в голове, бесформенные, как медузы. Слепое ранение сустава — он недавно вскрывал как раз похожее... Это злая судьба или у карликов так принято? Снайперские винтовки, две снайперские винтовки... И смешно как-то было, и стыдно немного — не в живот, не в легкое, не в голову. Пуля ведь махонькая совсем...

Он соскользнул на землю с метровой примерно высоты, но не удержал равновесия, тяжело грохнулся на камень всем телом, навзничь — и это стало последней каплей, гранью, за которой возможно только беспамятство.

Олаф очнулся в окружении четверых карликов с масками на лицах — и в первую секунду подумал о цвергах... Холод начинался за пределами тела и сходиллся, концентрировался в ране невозможной болью. Боль от раны расплзалась по сторонам холодом.

Они говорили. По-видимому, через динамики: голоса искажались помехами и доносились будто из радиоприемника. На странном языке, в котором Олаф не сразу узнал допотопный английский, — во всяком случае, слова звучали совсем не так, как его учили в школе, буквы глотались, и речь сливалась в полугласные звуки. Он не понимал и половины сказанного, только угадывал общий смысл. Они говорили, что варвар жив, и это их почему-то забавляло. Один небрежно пнул Олафа ботинком в правое плечо, не сильно совсем, не ударил — пошевелил, а в глазах от боли потемнело, сознание едва не ушло опять. Злости не было, но от накатившей детской обиды захотелось плакать. Зачем? Ну зачем так?

Выбитые прикладом зубы. Выдавленные глаза. Раздробленные пальцы... Пока обижаться было не на что, вместо коленного сустава прострелили плечевой, и на том спасибо.

— Девушки, сюда! — крикнул карлик (вряд ли Олаф понял его неправильно). — Вам понравится!

— Вы нашли варвара первыми? — ответил женский голос откуда-то слева. И от того, что его искажал динамик, показался нечеловеческим, искусственным.

Карлицы. Неотличимые от мужчин в этой форме, масках, очках. Когда три женщины встали над Олафом рядом с солдатами-мужчинами, отсутствие различий бросилось в глаза. Значит, та карлица, которую он вскрывал, не исключение?

— О-о-о! — протянула одна и наклонила голову. — Какой он громадный!

— А можете представить, какой у него член? — вторая причмокнула губами. Олаф решил, что чего-то недопонял.

Третья повернула голову к подругам и прошипела в динамик:

— Варвары убили Джуди. Я их ненавижу.

Она, не сильно замахиваясь, ударила Олафа ботинком в плечо — он втянул воздух сквозь зубы, охнул и зажмурился. Боль не отпускала, туманила голову, перехлестывала через барьер, до которого ее можно было принимать как испытание, — не хватало ни спокойствия, ни достоинства.

Они рассмеялись почему-то, и женщины тоже, а один пояснил (если Олаф правильно его понял), что у варваров высокий болевой порог, они начинают чувствовать боль, только если им ломать кости. Олаф сказал бы им как врач, что у варваров такой же болевой порог, как у гипербореев, как вообще у людей, но неожиданно догадался, что варваром называют его самого.

— Я бы хотела переломать кости им всем... — проворчала карлица, которая пнула Олафа.

Следующая фраза оказалась непосильной для Олафа: что-то про садо-мазо, лесбиянок и женщин, которые рожают одного за одним, как свиноматки. Единственное, что было понятно однозначно: «Поглядите, он милашка» — и имя карлицы: «Наташа». Обращение на «вы» и фамильярный тон никак друг с другом не вязались. В книгах это «вы» не мешало, а тут он никак не мог понять, когда фраза обращается ко всем, а когда — к кому-то конкретно.

Наташа ответила на выпад товарки: «Может быть», «вы извиняетесь», «ваши трубки»... «Жалеете, что перетянули трубы?» — должно быть, так. Или снова профессиональная деформация? И если он понял этот вопрос правильно, то что же это значит? Эта женщина добровольно отказалась от рождения детей? Кто же перед ним? Что же это за чудовища? Боль перетекала в холод, холод становился болью. Камни забирали тепло и возвращали боль. Происходящее, наверное, было сном. Или бредом.

Ответ Олаф тоже разобрал плохо: «Поставила клипсы», «непохоже на вас» — «в отличие от вас!» «Сниму», «хочу»... А, «если захочу, то сниму!» «Просто посмотрите на

него». «Его сперма сломает любую клипсу». Значит, речь все же о маточных трубах? Она поставила зажимы, которые можно снять, — вроде бы так.

— Довольно, — оборвал их карлик-мужчина. Тот, который объяснял про болевой порог. — Вы собрались сношаться прямо здесь? В респираторе?

— Сержант, моя киска не нуждается в респираторе, — прыснула женщина. Продолжение фразы было длинным: «думаете», «его инструмент», «не подняться», «кто-нибудь», «пососать»... Похоже, это можно было сказать короче: «Думаешь, у него не встанет, если не отсосать?» Потрясающе... Но — да, это трудно в респираторе.

Олаф вспомнил, как в детстве, только начиная учить английский, они с одноклассниками в первую очередь ознакомились с ненормативной его лексикой, щеголяли друг перед другом непристойными словечками и писали их на заборах. Но они же были детьми! Примитивные казарменные шутки в устах женщины, особенно пропущенные через динамик, вызывали недоумение, и Олаф все же сомневался, что правильно понимает их разговор. Амазонки? Нора тоже амазонка, и вряд ли ее можно смутить какими-нибудь подробностями интимной жизни, но представить себе сказанную ею скабрзность? Наверное, он все-таки бредит...

— ...убить его? — спросила Наташа (эти два слова Олаф понял однозначно).

Мужчина ответил, что варвара сначала допросят и надо тащить его к берегу. Карлики переглянулись и заговорили, что варвар слишком тяжелый. И мужчины, и женщины заговорили, будто женщин это тоже касалось!

Наташа цедила слова сквозь зубы, от этого они становились еще менее разборчивыми: «Идиоты», «смотреть», «должно быть сделано»... Она пнула Олафа ногой под ребра, и фраза тут же стала понятной: «Смотрите, как это делается».

Следующий ее удар (в плечо ботинком) был еще сильнее, Олаф застонал и долго не мог открыть глаза, потому, наверное, не сразу догадался, что настойчивое «ап» — это приказ подняться на ноги. Встать надо было только для того, чтобы не замерзнуть. И... хотелось взглянуть на карликов сверху вниз. И очень, очень не хотелось еще одного пинка в плечо — этого испытания он мог и не выдержать.

Мелькнула мысль, что убить карлика очень легко. Довольно повредить трубку, подающую кислород, или сорвать маску респиратора, не обязательно сворачивать им шеи. Но убить женщину, зная, что это женщина?

Вставал Олаф долго и с трудом, сначала приподняв повыше правое плечо, чтобы не так просто было по нему ударить. Пинок по почкам тоже был ощутимым, но в сравнение с болью в плече не шел.

Карлики не доставали ему и до ключиц... И отшатнулись в испуге — хотя маски скрывали страх на лицах, жесты рассказали об эмоциях лучше мимики. Отшатнулись и направили на него автоматы. Даже у Наташи поубавилось решимости, с такой силой она вцепилась в ствол. Олаф усмехнулся — нехорошо усмехнулся, с гордостью, с превосходством.

— Я выжала глаза вашего друга, — слишком громко для уверенного в себе человека выкрикнула Наташа. Олаф только через секунду сообразил: выдавила глаза.

— Расслабьтесь, Наташа, варвары не говорят по-английски, — вроде бы подковырнул ее сержант, но стоял при этом в слишком напряженной позе: выставив одну ногу вперед, чтобы легко переносить тяжесть с ноги на ногу, как в драке. Смешно.

Двое остановились по сторонам на безопасном расстоянии, остальные бочком переместились Олафу за спину, подтолкнули стволом между лопаток, выкрикивая «гоу» странно, непривычно — он, пожалуй, в первый раз услышал, как правильно произносить дифтонг.

Не стоило усмехаться — после пяти или шести шагов усмешка превратилась в отвратительную жалобную гримасу. Олаф придерживал рукой правый локоть, и от этого трудно было сохранить равновесие, а упасть он очень боялся. Видел ведь, во что маленькая пуля превращает сустав, если не проходит навывлет, но все же в колено Антону стреляли в упор, а не с большого расстояния... Впрочем, по ощущениям Олаф решил бы, что плечо долго крошили кувалдой, уложив его на камень. Холод остановил было кровотечение — или лежа на спине Олаф его просто не чувствовал? Теперь кровь промочила рукав и подтекала по пальцам левой руки, поддерживавшей локоть, собиралась сгустками в пригоршне, капала на землю, на штаны.

Карлики ненадолго примолкли, сосредоточенно сопели в динамики, пока сержант, шедший сбоку, не спросил:

— Рамона, вы продолжаете хотеть (все еще хотите!), чтобы он трахнул вас?

По-видимому, так у них было принято разряжать обстановку и повышать боевой дух.

— Почему нет? — натянуто откликнулась та. И дальше снова непонятное: «почти», «мочиться», «во весь рост». Чуть не описалась? Ну да, когда Олаф встал во весь рост. Приятно.

Сержант переспросил:

— Была ли это радость или... (Олаф не разобрал).

Им приходилось говорить громко, они двигались на расстоянии друг от друга, а динамики приглушали голоса.

— Сержант, это боязнь большого члена. Вы не понимаете! Он (что-то там ваше) разорвет на куски!

В самом деле, что большой член может порвать на куски? Из того, что принадлежит сержанту, разумеется. Сержант ответил, что кэпн (капитан?) что-то сделал с его задницей давным-давно, и теперь она не боится варваров. Дурачок, лучше бы он беспокоился о своей шее, а не о заднице...

Карлики смеялись. Если сержант хотел разрядить обстановку, то ему это удалось.

— Я не знала, что вы гей, сержант!

— Кэп сделает геем любого, кого захочет! Он верит... — дальше что-то про порядок (приказ?), «довольно», «сделать это». В общем, делает их геем по приказу...

Интересно, они читали Джерома, О'Генри? Так плоско не шутят даже на Каменных островах. Или, может быть, это в самом деле было смешно, просто Олаф не уловил какого-то подтекста? Ведь управляют же они субмариной, пользуются компьютерами...

Через минуту он сообразил: солдаты. Перед ним (позади него) не изобретатели компьютеров, не филологи, не океанографы — просто солдаты. Тупые исполнители чужой воли, им необязательно знать Джерома. Олаф читал о таких в допотопных книгах. И если пограничники Восточной Гипербореи на них непохожи, это не значит, что все карлики устроены столь же примитивно. Заговори они языком О'Генри, Олаф, наверное, не понял бы даже смысла сказанного. Он и так понимал их через слово — остальное додумывал.

Пожалуй, он бы даже не удивился казарменным шуткам, если бы среди карликов не было женщин. О женщинах-солдатах ему тоже приходилось читать, но в книгах они почему-то выглядели иначе.

Если бы каждый шаг не отдавал в плечо, да еще и всякий раз по-разному... Если бы тропинка была ровной... Если бы дурнота не колыхалась в горле и не мутила мозги, если бы не накатывала поминутно слабость, от которой ватным делалось тело, если бы было чуть-чуть теплее...

Он оступился, едва не упал — неловко подогнулось колено, — приостановился и тут же получил прикладом между лопаток. Карлик, который до этого молчал, выругался невнятно, себе под нос, Олаф уловил только «грязный варвар».

Ему тут же игриво ответила карлица с клипсами на маточных трубах — Рамона? «Нет ли у тебя», «никакой жалости», «для него»... Ох, это простое «тебе его не жалко?». Ну и о том, что варвар не виноват, что родился варваром.

— Мои предки заплатили за то, чтобы я не был рожден варваром. И ваши тоже. Я не вижу никакой несправедливости, — ответил карлик.

— Наверное, у его предков не было таких денег. Но это не его вина, — настаивала Рамона.

Олаф сосредоточился — по крайней мере, постарался. «Заплатили, чтобы я не родился варваром»... В общем-то, так и должно было быть: «билеты» в подводный серебряный город наверняка стоили много денег, в допотопные времена все продавалось и покупалось.

— Может быть, это моя вина, что у его предков было недостаточно денег? Или ваша? Или сержанта? — огрызнулся карлик, ударивший Олафа прикладом.

— Мои предки не платили денег, мой пра-пра-пра-прадедущка был лауреатом Нобелевской премии, — заметил сержант.

Значит, не только за деньги? Это немного обнадеживало.

— Может быть, это ваша вина, что предок этого варвара не был лауреатом Нобелевской премии?

— Я поняла. Мы избранные, а он нет. Но... (тут было не разобрать, опять что-то про жалость). Он милашка.

Избранные? Олаф не удержался: то ли кашлянул, то ли хмыкнул.

— Такой милашка сломал Джуди шею одной рукой, — проворчала Наташа.

Должно быть, это она убежала с криком, вместо того чтобы стрелять... Женщине не зазорно испугаться. Женщина должна бояться, должна себя беречь... Даже если у нее перерезаны маточные трубы. «Если кукла выйдет плохо, назову ее Дуреха».

— Джуди была идиотка, — фыркнула Рамона.

Появился озноб, усиливший и без того невыносимые мученья, и справиться с ним никак не получалось. Карлики продолжали перекидываться плоскими шутками, но Олаф уже не прислушивался, не старался их понять — слишком много сил уходило на то, чтобы не спотыкаться. К концу пути озноб стал похож на дрожь от усталости, отчаянья и страха, жалобная гримаса судорогой застыла на лице, тело одеревенело и совсем не слушалось.

Субмарина стояла на якоре у северного берега. Потопила ли она катер? Или позволила ему уйти?

Карлики расположились в лагере, возле временки, и один из них с интересом рассматривал тело Гуннара — Олаф не усомнился: с профессиональным интересом. Что ж, этого тоже следовало ожидать. Другой сидел на складном стуле со спинкой, положив

ногу на ногу, и почему-то Олаф решил, что это и есть упомянутый сержантом кэп. В любом случае, среди высадившихся на берег карликов он был старшим.

Их, безликих, Олаф различал только по голосам. Один из его конвоиров подошел к капитану и передал скомканный протокол вскрытия вместе с половинками гиперборейского флага. Кэп взглянул на Олафа исподлобья и повернулся к своему товарищу — врачу?

Стоять оказалось еще трудней, чем идти, — Олафа качало во все стороны, на ходу это было не так заметно.

Врач пробежал протокол глазами, кивнул и вернул листок капитану. Тот долго смотрел на половинки флага, на листок — будто забыл о существовании Олафа. Но потом все же поднял лицо и брезгливо произнес:

— Ёур наме?

Ну не до такой же степени...

Кэп повернулся к карлику-врачу. Сказал, что говорить с варварами нетрудно, надо лишь произносить слова так, как они пишутся.

Скрывать свое имя смысла не было.

— Олаф, Сампа, — прозвучало это невнятно, потому что он боялся разжать зубы. — И я не варвар, а гиперборей.

— Вы лекарь, Олаф? — спросил карлик по-английски, пропустив вторую часть ответа мимо ушей.

Олаф ответил, что он врач-танатолог, не удержавшись от усмешки — правда, жалкой и кривой. Сидевший посмотрел на него (с сомнением?) и оглянулся на своего товарища. Тот кивнул и сказал, показывая на тело Гуннара:

— Это профессионально сделанная аутопсия.

И добавил про медицинское заключение и цифры в нем: рост, вес тела и отдельных органов.

— И сколько весит сердце варвара? — Наверное, кэп хотел пошутить.

— Это медицинское заключение о вскрытии Шульца, — ответил врач.

Как мешали маски на лицах! Мало того, что Олаф плохо понимал их язык, он еще не видел их глаз... Кэп поднял голову и посмотрел на Олафа пристальным взглядом. Во всяком случае, долго не опускал лицо.

— Вот как? Вы уверены?

— Сто шестьдесят сантиметров — это пять футов и три дюйма, рост Шульца. Я не видел варваров такого роста.

Зачем надо было почти целые сутки приводить остров в порядок, чтобы потом прихватить с собой протокол вскрытия карлика? Впрочем, тело Гуннара спрятать получше все равно бы не удалось. Стоило разобрать лагерь и сделать вид, что тут уже побывали гипербореи? Пожалуй, это было бы правильней. Но хорошие мысли всегда приходят в голову слишком поздно...

— Можешь перевести на английский вот эти записи? — кэп протянул Олафу протокол.

Олаф пожал бы плечами, если бы мог. Попытался все же отпустить локоть и протянул перепачканную кровью ладонь к листку. Но вовсе не от боли, полоснувшей по мозгам, вернул левую руку на место и покачал головой — они хотят знать, что ему известно о них. Если этот человек называет Олафа лекарем — он имеет очень смутное представление о гипербореях. И, должно быть, не очень умен: ведь сидит возле ветрогенератора, держит в руках бумагу, а не бересту... Военные никогда не отличались особым интеллектом, не стоит делать вывод об умственных способностях карликов, столкнувшись с нелучшим их представителем — врач, например, показался Олафу куда сообразительней. Вряд ли на остров отправили стратега или психолога — произвести зачистку и демонтировать радары может и солдафон.

— Попытайся. В общих чертах, — ласково кивнул карлик.

Олаф покачал головой и сказал, что не говорит на допотопном английском. Эта фраза вызвала у карлика притворный интерес и неприкрытый сарказм.

— О, а есть какой-то еще английский? Ты его знаешь?

Олаф, как умел, пояснил, что на новом английском говорят варвары, но это примитивный язык и имеет с допотопным английским мало общего. Он не угадал, что короткий жест капитана — это приказ конвоиру, в правое плечо ударил тяжелый приклад, очень сильно, гораздо сильнее, чем его пинали ботинками. Олаф рухнул на колени, завыл и согнулся.

Кэп равнодушно обернулся к своему товарищу-врачу и сказал:

— Вы видите? Я же говорил, они почти не чувствуют боли.

— Возможно, это такой механизм адаптации... — не очень уверенно пробормотал в ответ врач.

Олаф вскинул лицо, скрипнул зубами и сказал, с трудом подбирая слова:

— Вы же медик, как эта глупость пришла вам в голову? Потеря болевой чувствительности ведет к быстрой смерти, особенно в неблагоприятных условиях.

Врач отшагнул назад, покачал головой в испуге и сказал капитану:

— По моему мнению, вы заблуждаетесь. Он испытывает боль. Но он не показывает этого.

— Почему? Зачем ему это надо? — Кэп воззрился на товарища, как на дурачка. По крайней мере, Олафу так показалось.

— Это часто встречается во многих примитивных культурах. Как правило, воинственных. Викинги, спартанцы... Но давайте лучше спросим у самого варвара.

— Я не варвар, я гиперборей... — сквозь зубы сказал Олаф. — И так у нас принято, да.

— По-моему, он прекрасно понимает английский и вполне сносно на нем изъясняется, — ответил капитан и снова подал знак конвоиру.

От второго удара прикладом Олаф едва не потерял сознание: накатила дурнота, а с нею — отчаянье. И еще страх, непреодолимый страх перед новой болью. Выбитые прикладом зубы и раздробленные пальцы? Выдавленные глаза? Мысль о том, что Планета помогает сильным, от отчаянья не спасла.

И все же Планета помогает сильным. Тем, кто не рассчитывает на ее помощь. На шельфе скорость *Большой волны* не так велика, как в океане, но если она появилась на горизонте, ни одно судно не успеет уйти на безопасное расстояние от берега. Для того и существует метеослужба, чтобы заранее предупреждать о цунами.

Капитан поднялся со стульчика — мог взглянуть на Олафа, стоящего на коленях, сверху вниз, — сделал шаг вперед и заорал:

— Где тела моих людей? Где остальные записи? У меня нет времени на глупые игры!

Олаф прикрыл глаза и заранее сжал зубы. Сам дурак — не надо было брать с собой протокол, даже машинально. Удар пришелся в скулу, рассек кожу, потрянул голову. Но в плечо было больней.

Карлики, должно быть, никогда не видели приближения *Большой волны* к берегу, потому что не обратили внимания на чуть приподнявшийся горизонт, не почувяли замершего ветра, не услышали безмолвия, которое наступает перед приходом цунами. Какой бы мощной ни была их железная лодка, для океана это игрушка. Олаф подумал, что на субмарине еще много карликов, и все они погибнут через несколько минут, и, несмотря на малый рост и неумение дышать, они тоже люди — он видел, что внутри они такие же люди. Око за око — не самый лучший закон и далеко не всегда справедливый. И подумал Олаф не о мести, а о том, что субмарина атакует любой катер, который попытается подойти к острову.

Впрочем, его предупреждение ничего не меняло — лодка не успела бы отойти от берега. Он лишь смотрел на горизонт, и усмешка сама собой кривила губы — нехорошая, злорадная, с ощущением собственного превосходства над глупыми напыщенными карликами, вздумавшими пойти против избранников гневной Планеты.

Капитан не заметил усмешки Олафа, снова сунул ему в руки листок с протоколом, и Олаф его взял.

— Хотите знать, что здесь написано? — не глядя в протокол спросил он. — Здесь написано, насколько мы сильнее вас. Насколько вы жалкие рядом с нами, насколько уязвимые. Потому что наших предков выбрала сама Планета, а ваши предки за деньги купили себе жизнь. Стоит только порвать трубку кислородного концентратора...

Карлик непроизвольно потянулся к маске, в спину уперлись дула автоматов — услышали. Поняли. Испугались. *Большая волна* приближалась неумолимо, вздыбившийся горизонт теперь трудно было не заметить.

Кэп оглянулся. Не сразу догадался, что происходит, но когда понял, вскочил, замахал руками тем, кто был на берегу, — и они заметались в панике, кто-то бросился к шлюпкам, кто-то побежал от кромки воды наверх. Карлик выхватил из нагрудного кармана черный брусок, который осветился в его руках, и кричал в него «Цунами! Идет цунами! Уходите!» Наверное, это была рация.

Олаф видел, как карлики бегали по палубе субмарины, как запрыгивали в раскрытые люки, но прошло не меньше минуты, прежде чем корпус лодки дрогнул — еще не все люки были задраены, — и она рванулась в сторону, параллельно волне. «Не уйдет», — подумал Олаф безо всякого сочувствия, а пожалуй и с торжеством.

Мало кто способен равнодушно отвести взгляд от *Большой волны*, когда она накатывает на берег. Олаф видел сотни *Больших волн* и все равно смотрел на них как замороженный. Все смотрели на них замороженно.

Похоже, некоторые карлики подумали, что вода поднимется на полторы сотни метров, потому что бросились прочь. Капитан кричал: «Стойте», но послушались не многие. В панике разбежались?

При встрече с берегом волна замедляет бег и поднимается (словно раскрывает пасть) — а в спину ее толкает собственная многокилометровая масса, еще не успевшая притормозить. И тогда океан льется на берег широкой рекой.

От удара цунами островок потрянуло, брызги осколками метнулись вверх, он задрожал всем телом — Олаф стоял на коленях и ощущал его лихорадочную вибрацию как свою. Над водой взлетела корма субмарины, волна переломила корпус о донный

выступ, словно палку о колено, и завертела обломки. Карлики, остолбенев, смотрели на поднявшуюся вокруг острова воду — это была страшная грохочущая вода с тысячей бешеных течений и водоворотов, несущая камни и крошащая скалы. Кто-то сзади истерично закричал, крик подхватили другие.

Капитан, пять минут назад уверенно рассуждавший о варварах, сжимал и разжимал кулаки, беспомощно оглядываясь по сторонам. Он стоял спиной к Олафу, так же как его товарищ-врач. Олаф медленно поднялся — Планета добавила ему силы, адреналин сделал боль терпимой — и шагнул в их сторону. За грохотом воды этого шага никто не услышал.

Он ухватил капитана за трубку кислородного концентратора — пальцами, будто поймал насекомое. И тот замер, присел от испуга, боясь дернуться и закричать. Волна уходила, обнажая дно, — скоро должна была накатить следующая. Обломков субмарины видно не было — их протащило далеко на юг.

— Это месть гневной Планеты, — сказал Олаф. — За убитых здесь ребят. За потопленные катера.

— Чего вы хотите? — пролепетал карлик.

Ну до чего трусливая тварь! Олаф поморщился от омерзения.

— Прикажи своим людям сбросить оружие вниз. Если кто-то из них выстрелит и я упаду, трубка порвется. Ты, конечно, поживешь немного без маски, вдыхая кислород, но тогда тебя отравит углекислота. Ваш Шульц умер именно так?

— Это бессмысленно, нас много, вы не выстоите до того, как придут ваши люди, — забормотал капитан.

— А это неважно. Вам все равно не уйти с острова. Я просто не хочу, чтобы вы отстреливались, когда сюда подойдут гиперборейские катера. Давай. Командуй.

Вторая волна смыла сброшенное вниз оружие. Карлики стояли — каждый сам по себе, это бросалось в глаза. Может, они не совсем люди? Люди в случае опасности жмутся друг к другу — не от страха даже, а так просто, чтобы ощутить прикосновение чужого плеча. Человек не может один. Никто из карликов не посмел приблизиться к Олафу, а ведь навались они гуртом, он бы вряд ли устоял. Да, кому-то из них он бы свернул шею, кому-то порвал бы трубку дыхательного прибора. Но он же еле держался на ногах, неужели они не видели? И все равно побоялись. Морпехи. Облить бы их водой из бочки и отобрать спички. Догадаются они сбиться потесней, отдать женщинам теплую одежду? Избранные...

Олаф сплюнул и направился к своему убежищу. Темнело. Адреналин иссяк, оставив после себя пустоту, боль и холод. Рана на плече пульсировала, и это было нехорошим знаком: попала инфекция? Он не сомневался, что карлики не сунутся к нему в «берлогу», и спокойно развел огонь. Он не лукавил, когда говорил капитану, что теперь не так уж важно, останется ли он в живых. Наверное, в живых остаться все-таки хотелось, но «важно» и «хочется» — разные вещи. Интересно, поняли бы эту незамысловатую мысль карлики?

В аптечке нашлось только два рулончика бинта и одна упаковка салфеток. Олаф промыл рану вслепую (легко доставал до нее левой рукой), залил йодом — может быть, в перевязочной госпиталя ОБЖ так делать нельзя, но перед чадящим костром, с грязными руками... Инфекция опасней ожога. Кровь почти не текла, но Олаф не сомневался: это пока холодно и пока он сидит, а не лежит, — потому постарался сделать повязку потуже. Выпил две таблетки антибиотика и две — аспирин. На горячие камни сил не хватило.

Аспирин не помог: боль не дала уснуть, через час-другой и слезы побежали из глаз. Наверняка где-нибудь в ящике с медикаментами (содержимое которого Олаф заменил на компьютер), на самом дне и был спрятан промедол, но он остался во времянке. Эта мысль казалась донельзя обидной, и слезы текли еще сильнее. Потом пришло тяжелое, тусклое забытие, совсем непохожее на сон. Олаф то выплывал из него на поверхность, то опять уходил в туманную глубину. Озноб сменялся жаром и снова возвращался: от жара рана горела так, будто в нее сунули тлеющую головешку, озноб бил по ней будто молотком. Очень хотелось пить, а дотянуться до фляжки с водой не получалось.

Олаф видел катера, подошедшие к острову перед рассветом. Большие вооруженные пограничные катера. Но ему не хватило сил не то что подняться — даже махнуть им рукой.

Его нашли часа через два после высадки на остров. Врачом, прибежавшим оказывать первую помощь, был Бронеслав с Ойвинда; они учились вместе, а Ауне дружила с его женой. И был промедол, и жаропонижающее, и шина на рану, и чистая повязка.

— Нормально, Олаф, все будет нормально... — приговаривал Бронеслав, и по тому, как убедительно он это говорил, Олаф понимал, что «нормально» писано вилами на воде.

— А катер? Катер ушел?

— Какой катер? Ты бредишь, что ли?

— Который вчера сюда подходил, которому я сигналил. Его потопили?

— А, этот... Нет, с ним все в порядке, возвращается на Большой Рассветный. Ты именно эти таблетки пил? — Бронеслав помахал упаковкой перед глазами.

— Ну да. И антибиотик еще.

— Это не аспирин, это аскорбиновая кислота. Тоже полезно, конечно.

Перепутал в темноте... Вот потому ночью и было так плохо.

Со скал поднимали спрятанные мертвые тела и, как Олафа, несли к катеру на плащ-палатках. Только накрывали их с головой, и не спальниками, а кусками уроспорового полотна. От промедола сперва тянуло в сон — как только стихла изматывающая боль, — а потом появилась приятная легкость в мыслях и несвойственное Олафу желание поговорить. А может, виной тому не промедол вовсе: он слишком долго был один, а тут вдруг оказался среди своих — среди нормальных людей, которые помогают друг другу, которые ценят, а не оценивают человеческую жизнь...

Двое СИБовцев тащили к берегу ящик с компьютером, и Олаф ощутил неловкость: пришло же ему в голову обвинить их в убийстве ни в чем не повинных людей...

Между катером и берегом курсировала одна шлюпка, уже почти загруженная, и, должно быть, пограничники посчитали, что нехорошо перевозить раненого вместе с мертвецами, — Олафа уложили у берега на стопку матрасов из времянки, будто на высокую кровать. Лежа он чувствовал себя не в своей тарелке — все ходят, суетятся, носят что-то, а он валяется, — и он сел, свесив с матрасов ноги. Сразу закружилась голова, затошнило, и Олаф лег бы обратно, но...

На камнях лежали тела убитых карликов. Без одежды, без масок и очков. Некрасивые, узкоплечие, с кривыми ногами и впалыми грудными клетками. Смерть всегда безобразна, но тут она превзошла саму себя. Ранения в сердце, выстрелом в упор. И половина — половина! — женщины-карлицы. Почти неотличимые от мужчин: поджарые, маленькая грудь, узкие бедра...

Одна из них — Рамона, считавшая Олафа «милашкой»; она пережала маточные трубы клипсами. Может, просто искала мужчину, от которого стоит рожать?

Одна из них — Наташа, которая испугалась выстрелить в Антона, а потом доказывала самой себе, как ненавидит варваров и какой жестокой может с ними быть.

Один из них — сержант, потомок нобелевского лауреата.

Они качали мышцы и загорали под кварцевыми лампами — чтобы сделать свои безобразные от природы тела красивей? Они учились воевать в спортзале и вряд ли собирались умирать, вряд ли знали, что такое война.

Рядом остановился СИБовец — будто учуял, когда надо подойти. Там всегда работали хорошие психологи.

— Зачем? — тихо спросил Олаф.

СИБовец пожал плечами.

— Они пришли к нам с оружием в руках. Их вина не требует доказательств.

— Пленных варваров мы не убиваем, — Олаф вскинул взгляд.

— Варвары дышат одним с нами воздухом. Жизнь варвара ценна не менее, чем жизнь гиперборея.

— А жизнь вырожденца, генетического уродя, ценности не имеет, потому что он не даст здорового потомства? — хмыкнул Олаф.

— Я этого не говорил. Люди не племенной скот. Не надо думать, что мы столь циничны. Но мы физически не можем сохранить им жизнь, а пожурить их и отправить домой, знаешь ли, было бы тоже... не совсем справедливо.

Олаф это, пожалуй, понимал. И действительно не видел другого выхода — кроме сохранения пленным кислородных концентраторов, конечно.

— Большинство из них солдаты, они исполняют приказы.

— Солдат, отправляясь воевать, представляет себе, на что идет. По крайней мере, должен представлять.

— Среди них были женщины... — сказал Олаф.

— Если они не ценят своих женщин, почему их должны ценить мы? В любом случае они не могут жить без дыхательных приборов, а их мы обязаны уничтожить. С тебя возьмут подписку о неразглашении.

— Почему... уничтожить?... — переспросил Олаф, отлично зная ответ.

— Потому что это соблазн. Ты бы дал умереть своему сыну, если бы у тебя была такая штука?

— Не знаю, — усмехнулся Олаф. Не хотелось возвращаться к тому, что уже передумано и сделано.

— И я не знаю. А моя жена знает — не дала бы она своим детям умереть. И твоя, наверное, тоже.

— Ты считаешь это правильным? Уничтожать кислородные концентраторы?

— Я никак не считаю. Так считает ОБЖ. Но мне бы не хотелось, чтобы мои праправнуки не могли обходиться без этих штук.

Не было никакой встречи на причале. После двух дней на пограничной базе, которые Олаф помнил очень плохо, после неудачной операции в скромной амбулатории пограничников его все же отправили на Большой Рассветный. По иронии судьбы, второй раз его оперировала Нора, и она ошибок не делала — пообещала, что рука будет двигаться, если ее разрабатывать.

Но и в госпитале ОБЖ Ауне к Олафу пустили не сразу, а только после того, как он окончательно пришел в себя и подписал все нужные СИБу бумаги.

Ауне плакала. Хватала его за руку, мяла в своих руках, прижимала к мокрому лицу. Даже не пыталась изобразить, что сердится, и слез не прятала, не вытирала их украдкой. Глаза у нее были зелеными и прозрачными.

— Ну что ты, что ты реवेशь? — бормотал Олаф, как всегда теряясь от жениных слез.

— Мне сказали, тебе очень плохо.

— Ерунду тебе сказали.

— Плечо сильно болит?

— Ну так... немного... Когда кашляю.

— Не ври, я же не маленькая...

— А если не маленькая, чего глупости спрашиваешь?

Ауне заплакала еще сильнее. Ну что он такого сказал? Надо было, наверное, как-то ласково...

— Я скучал. По тебе, по девчонкам... Ну что ты реवेशь!

— От радости, Оле. От радости...

Пользуйтесь природой,
Делайте детей...

Красное полночное солнце замерло над океаном, у самой его кромки; Олаф смотрел на него сверху вниз из окна родильного отделения госпиталя ОБЖ. Показалось, что он слышал крик ребенка, и теперь всеми силами старался не шевельнуться, не кинуться к двери раньше времени — не пацан.

Считается, что отцы не чувствуют любви к детям, когда те только появляются на свет. Новорожденный младенец некрасив, не имеет обаяния детей чуть постарше —

наверное, для того, чтобы не успеть к нему привязаться, прежде чем он умрет. И Олаф каждый раз старался не привязаться...

Дверь открылась неслышно, и он не оглянулся, пока его не позвала акушерка. Она была одна и, передавая Олафу на руки крохотный сверток, сказала только одно слово:

— Мальчик.

Олаф кивнул. Большой Рассветный — не Сампа, где рождение ребенка событие, где вся община выходит на берег океана вместе с отцом... Здесь по нескольку раз в день отцы выносят новорожденных детей на широкую террасу, нависшую над океаном, и статуя Планеты равнодушно смотрит то ли на север, то ли под ноги — на жалкого человечка со своим детенышем в руках. Олаф в такие минуты предпочитал одиночество.

Планета помогает сильным. Тем, кто не ждет от нее помощи. Тем, кто с достоинством принимает удары судьбы.

Он старался не смотреть на сморщенное личико, не загадывать ничего заранее, не надеяться, не привязаться... Но все равно смотрел — пока шел по длинному коридору на террасу, пока спускался с крыльца к ногам Планеты. У новорожденных неземной взгляд, они смотрят на мир будто с другой стороны — со стороны небытия. И легко уходят обратно в небытие, задержавшись в этом мире лишь на несколько минут. Это был их с Ауने девятый ребенок — шестерых Олаф проводил обратно за черту... Они уходили тихо: засыпали, потом теряли сознание, потом переставали дышать. Но сначала смотрели сквозь Олафа голубыми глазами, и в этом взгляде не было ни любопытства, ни тревоги, ни беспомощности — в нем крылась мудрость и тайное знание. О том, что есть там, за чертой. Им было не страшно туда возвращаться.

Легкий ночной ветер встрепал волосы, когда Олаф подошел к перилам террасы, солнце оставалось неподвижным и равнодушным, как и статуя Планеты. И он уже не мог оторвать взгляд от маленького личика, не мог не искать на нем признаков гипоксии. Не надеялся, нет, — всей силой души, каждой своей клеточкой хотел, чтобы мальчик выжил. Не мечтал о том, как его сын вырастет, не строил планов, не представлял первых его шагов и первых книжек — только чтобы он жил здесь и сейчас. Любой ценой. Хотел так сильно, что готов был кричать. Валяться в ногах у Планеты и умолять...

Чтобы Ауне, выйдя на террасу, плакала от радости, чтобы они смеялись и кружились обнявшись — втроем. И Олаф целовал бы их обоих, и прижимал к себе, и кричал в океан: «У меня сын! Слышите, вы? У меня сын!» Чтобы из госпиталя высыпали все, кто принимал роды, и дежурившие в ночь врачи, и сестры, и санитарки, и истопники,

и повара. Они бы тоже обнимались и улыбались, смахивая слезы с глаз, и поздравляли, целовали Ауне и хлопали Олафа по плечам...

Кислородный концентратор сохранил бы ребенку жизнь.

Мысль была нестерпима, от нее подогнулись ноги, и Олаф прислонился к перилам террасы, прижался лицом к махонькому свертку на руках. Он уже сбросил своего ребенка со скалы. Тогда, ночью, на Гагачьем острове. Как легко это вышло — не глядя в голубые глаза младенца! Он сам принял решение, сам отказался от спасения, а потом еще и согласился с ОБЖ, подписал бумагу...

Зачем, зачем он это сделал? Что от этого менялось? Красивый жест? Хотел порисоваться перед самим собой? Перед Планетой? Он мог не бросать кислородный концентратор в океан. Он мог вернуться за ним на Гагачий остров. Мог! И пусть, пусть мальчик не стал бы таким, как все здоровые ребяташки, но он бы жил, жил! А остальное неважно... И — да, теперь можно валяться в ногах у Планеты, теперь можно просить ее о милости и обвинять в безразличии...

— Прости меня, сынок, — выговорил Олаф тихо и сипло. — Это мое решение, моя вина... Только моя...

Мальчик смотрел сквозь него мудрыми голубыми глазами.